

• КРИСТОФЕР ПРИСТ •

Потеря

fanzon

Архипелаг снов

Кристофер Прист
Лотерея

«ЭКСМО»

1981

УДК 821.111-312.9
ББК 84(4Вел)-44

Прист К.

Лотерея / К. Прист — «Эксмо», 1981 — (Архипелаг снов)

ISBN 978-5-699-91659-7

Питер Синклер потерял все – отца, любимую девушку, работу. Чувствуя, что сама жизнь ускользает, как песок между пальцами, он пытается зафиксировать ее на бумаге. Но то, что начинается как автобиография, вскоре оборачивается историей совершенно другого человека в другом мире, и новая реальность засасывает Питера с головой... От автора «Опрокинутого мира», «Машины пространства», «Гламуре» и экранизированного Кристофером Ноланом «Престижа» – романа, благодаря которому престижный альманах «Гранта» включил Приста в свой список наиболее перспективных британских авторов 1980-х годов наряду с Мартином Эмисом, Яном Макьюэном, Джулианом Барнсом, Салманом Рушди, Кадзуо Исигуро и Грэмом Свифтом.

УДК 821.111-312.9
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-699-91659-7

© Прист К., 1981
© Эксмо, 1981

Содержание

1	6
2	12
3	16
4	24
5	34
6	40
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Кристофер Прист

Лотерея

Christopher Priest
The Affirmation

© М. Пчелинцев, наследники, перевод на русский язык, 2016

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Э“», 2016

Посвящается М. Л. и Л. М.

О мудрые, из пламени святого,
Как со золотых мозаик на стене,
К душе моей придите и сурово
Науку пенья преподайте мне,
Мое убейте сердце: не готово
Отречься тела брэнного, зане
В неведении оно бы не взалкало
Искомое бессмертного вокала.

Мне не дает неверный глазомер
Природе вторить с должною сноровкой;
Но способ есть – на эллинский манер
Птах создавать литьем и тонкой ковкой
Во злате и финифти, например,
Что с древа рукотворного так ловко
Умеют сладко василевсам петь
О том, что было, есть и будет впредь.

*У. Б. Йейтс, «Плавание в Византий»
(Пер. Е. Витковского)*

1

Нижеследующее я знаю точно.

Мое имя Питер Синклер. Я англичанин, мне двадцать девять лет, во всяком случае – было двадцать девять, здесь уже вкрадывается некая неопределенность. Возраст подвержен изменениям, сейчас мне уже не двадцать девять лет.

Когда-то я верил, что категоричность слов является верной гарантией истинности сказанного. Имея соответствующее желание и подобрав правильные слова, я смогу, в силу самих уже этих обстоятельств, писать правду и только правду. С того времени я успел узнать, что слова надежны не сами по себе, а лишь в той степени, в какой надежен разум, их отбирающий, а потому в основе любого повествования лежит своего рода обман. Тот, кто проводит отбор чересчур скрупулезно, становится сухим педантом, зашоривает свою фантазию от более широких, ярких видений, однако тот, кто перегибает палку в другую сторону, приучает свой разум к анархии и вседозволенности. Что же до меня, я скорее предпочту рассказывать о себе, опираясь на свой сознательный выбор, чем на игру случая. Могут сказать, что эта «игра» порождается моим сознанием и тем уже интересна, однако я по необходимости пишу с постоянной оглядкой на дальнейшее развитие событий. Многое в них еще не ясно. Сейчас, на старте, мне никак не обойтись без занудного педантизма. Я обязан выбирать слова с предельной осторожностью. В моем повествовании не должно быть места для ошибок.

А потому я начну его заново. Летом 1976 года, когда я поселился в коттедже Эдвина Миллера, мне было двадцать девять лет.

Как этот факт, так и мое имя можно считать установленными точно, потому что они получены из объективных, независимых от меня источников. Имя я получил от своих родителей, год был написан в календаре, так что спорить здесь не о чем.

Весной того самого года, когда мне было еще двадцать восемь, моя жизнь достигла поворотной точки. Это выразилось в сплошной полосе несчастий, вызванных обстоятельствами чисто внешними, мне не подвластными. Упомянутые несчастья никак друг от друга не зависели, однако они свалились на меня почти одновременно на протяжении немногих недель, а потому казались результатом некоего зловещего заговора.

Первое и главное, умер мой отец. Совершенно неожиданная смерть – его убила церебральная аневризма, никак до того не проявлявшаяся. У нас с отцом были хорошие отношения – и близкие, и достаточно отстраненные; после смерти матери, наступившей двенадцатью годами раньше, я и моя сестра Фелисити тесно с ним сблизились, хотя и находились в том возрасте, когда подростки, как правило, бунтуют против своих родителей. Года через два или три, частично из-за того, что я поступил в университет, частично из-за моих расхождений с Фелисити, эта близость нарушилась. Мы трое жили теперь в разных частях страны и сходились вместе лишь по очень редким случаям. Однако воспоминания о том коротком периоде создавали между мной и отцом прочную, никогда не обсуждавшуюся нами связь, и мы оба ее ценили.

Отец умер человеком состоятельным, но никак не богатым. К тому же он не оставил завещания, что означало для меня ряд скучнейших встреч с его юристом. В конечном итоге мы с Фелисити получили по половине его денег. Сумма не была достаточно большой, чтобы заметно изменить нашу жизнь, однако в моем случае ее хватило, чтобы смягчить то, что вскоре последовало.

Дело в том, что через несколько дней после смерти отца я узнал, что меня увольняют.

Страна вошла в полосу экономического упадка со всеми его радостями: ростом цен, забастовками, безработицей и нехваткой капитала. Полный мелкобуржуазного гонора, я считал самоочевидным, что университетский диплом надежно защитит меня от всего этого. Я

работал химиком в фирме, производившей ароматические вещества для большой фармацевтической компании, ну а там произошло слияние с другой группой, изменение рыночной политики, и в итоге наша фирма была вынуждена закрыть мой отдел. Сперва я решил, что поиски новой работы будут несложной, чисто технической задачей – на моей стороне были опыт, образование и готовность быстро переквалифицироваться. К сожалению, скоро выяснилось, что я далеко не единственный дипломированный химик, попавший под сокращение, а количество подходящих вакансий исчезающе мало.

Затем мне было отказано от квартиры. Государственное законодательство, частично защищавшее арендаторов за счет ущемления прав домовладельцев, изуродовало всю механику спроса и предложения. Покупка и перепродажа недвижимости стала более выгодной, чем сдача ее внаем. Что касается меня, я снимал квартиру в Килбурне, на первом этаже большого старого дома, и жил там уже несколько лет. Теперь этот дом был продан риелторской фирме, и мне предложили съехать. Для таких случаев была предусмотрена возможность обжалования, однако действовать следовало быстро и энергично, а я был полностью поглощен прочими своими бедами. Вскоре стало ясно, что съехать все-таки придется. Но куда, если покидать Лондон не хочется? Мою ситуацию никак нельзя было назвать атипичной, спрос на квартиры непрерывно рос, а предложение падало. Арендная плата стремилась куда-то в заоблачные выси. Люди, имевшие квартиры в долгосрочной аренде, держались за них обеими руками, а уж если куда-нибудь переезжали, передавали арендные права своим друзьям. Я делал все возможное: зарегистрировался в уйме агентств, звонил по объявлениям, просил всех моих знакомых, чтобы они сразу же мне сообщали, если услышат об освобождающейся где-нибудь квартире, однако за все то время, когда надо мной висела угроза выселения, мне ни разу не представилось случая хотя бы осмотреть предлагаемое жилище, не говоря уж о том, чтобы найти что-нибудь подходящее.

А для полной, видимо, радости в это же самое время мы с Грацией напроочь разругались. И если все прочие проблемы свалились на меня извне, то здесь я сам был отчасти виноват и не имею права складывать с себя ответственность.

Я любил Грацию, и она меня вроде бы тоже. Мы были знакомы довольно давно и прошли через все обычные стадии: новизны, притягия, крепнущей страсти, временного разочарования, обретения наново, привычки. Она была сексуально неотразима, во всяком случае – для меня. Мы могли быть друг другу хорошей компанией, удачно дополняли настроения друг друга и в то же время сохраняли достаточно различий, чтобы время от времени друг друга удивлять.

Вот в этом и крылся будущий наш разлад. Мы с Грацией возбуждали друг в друге несексуальные страсти, которых ни я, ни она не испытывали в чем-либо еще обществе. Она вызывала во мне, человеке довольно спокойном, приступы ярости, любви и горечи, почти ужасавшие меня своей силой. В присутствии и при участии Грации все бесконечно обострялось, все приобретало тревожную, разрушительную буквальность и значимость. Легкость, с какой у Грации менялись намерения и настроения, приводила меня в бешенство, к тому же она была сплошь наспигована неврозами и фобиями, что казалось мне поначалу весьма трогательным, а потом стало заслонять все остальное. Неустойчивая психика делала ее одновременно и хищной, и легкоуязвимой, в равной степени – хотя и в разные моменты – способной страдать и причинять страдание. С ней было трудно, и даже долгая привычка ничуть не смягчала эту трудность.

Когда мы ссорились, ссоры вспыхивали неожиданно и протекали очень бурно. Они всегда застигали меня врасплох, хотя позднее я с удивлением понимал, что напряжение нарастало уже несколько дней. Как правило, эти ссоры прочищали воздух и завершались обновленным, более острым ощущением нашей близости – либо сексом. Бурный темперамент Грации оставлял ей только две крайние возможности: либо прощать быстро, либо вообще

не прощать. Во всех, кроме одного, случаях она прощала быстро, и этот единственный стал, естественно, последним. Эта кошмарная, совершенно базарная свара разразилась прямо на улице. Грация визжала и крыла меня последними словами, люди проходили мимо нас, делая по возможности вид, что ничего не видят и не слышат, а я стоял как истукан, кипящий возмущением внутри и абсолютно невозмутимый наружно. Затем я повернулся и ушел домой, и там меня вытошнило. Все мои попытки до нее дозвониться были безуспешными, она то ли ушла куда-то, то ли не брала трубку. Как нарочно, это случилось в самый неподходящий момент, когда я искал работу, искал квартиру и пытался привыкнуть к тому, что у меня теперь нет отца.

Вот таковы факты – насколько выбранные мною слова способны их описать.

Как я на все это реагировал, вопрос совершенно другой. Практически каждый человек в тот или иной момент своей жизни теряет родителей, каждый, у кого возникает такая необходимость, находит со временем новую работу и новую квартиру, а печаль, сопровождающая разрыв любовной связи, мало-помалу рассеивается либо быстро сменяется радостью новой встречи. Только на меня все это свалилось одновременно; я чувствовал себя как человек, которого сбили с ног, а затем, прежде чем он успел подняться, еще и втоптали в землю. Я был жалок, деморализован, полнился горечью на несправедливость судьбы и ненавистью к удушающему кошмару Лондона. Как-то так вышло, что большая часть моего недовольства сосредоточилась на Лондоне, теперь я видел в нем массу недостатков и только их. Шум, грязь, вечная толкучка, дорогой общественный транспорт, плохое обслуживание в магазинах и ресторанах, задержки и неразбериха – все это казалось мне характерными проявлениями случайных факторов, грубо нарушивших мою жизнь. Я устал от Лондона, устал от себя, живущего в этом городе. Однако такая позиция не сулила ничего хорошего – я уходил все глубже в себя, становился вялым и бездеятельным, опасно приближался к грани саморазрушения.

Помогла счастливая случайность. Разбирая отцовские письма и бумаги, я захотел встретиться с Эдвином Миллером.

Эдвин был другом семьи, но я очень давно его не видел. Собственно говоря, мое последнее воспоминание о нем относилось к школьным годам, воспоминание о том, как он и его жена бывали у нас в гостях. Мне было тогда лет тринадцать или четырнадцать. Детские впечатления очень ненадежны: я вспоминал Эдвина и других приходивших к нам взрослых из компании моих родителей с не критическим чувством приязни, но эта приязнь была не столько личной, сколько опосредованной, полученной от родителей. Собственного мнения у меня фактически не было. Школьные уроки, подростковые развлечения и страсти, физиологические неожиданности собственного тела и все прочее, положенное этому возрасту, производили на меня куда более глубокое, непосредственное впечатление.

Было очень интересно взглянуть на Эдвина теперь, когда мне было уже под тридцать, а ему слегка за шестьдесят. Худой, жилистый, загорелый, он лучился неподдельным дружелюбием. Мы с ним пообедали в его гостинице, стоявшей на окраине Блумсбери. Была ранняя весна, и туристский сезон едва начинался, однако мы с Эдвином оказались едва ли не единственными на весь ресторан англичанами. Я вспоминаю группу немецких бизнесменов за соседним столиком, а еще японцев, арабов и кого только не; даже официантки, одна из которых принесла нам говяжьё вырезку, были то ли малайками, то ли филиппинками. Все это дополнительно подчеркивалось Эдвиновым грубовато-провинциальным акцентом, живо напоминавшим мне детство, наш дом на окраине Манчестера. Я давно уже привык к год от года все более космополитической природе лондонских ресторанов и магазинов, а вот сейчас Эдвин странным образом ее высветил, заставил казаться противоестественной. Все время, пока мы обедали, я ощущал ностальгию, сосущую тоску по времени, когда жизнь была много проще. Спору нет, она была и более ограниченной, и далеко не все смутные вос-

поминания, отвлекавшие меня от обеда, имели приятный характер. Эдвин был чем-то вроде символа прошлого, и первые полчаса, когда мы не перешли еще от обмена любезностями к нормальному разговору, я видел в нем образчик той среды, из которой я, по счастью, сумел вырваться, переехав в Лондон.

И все же он мне нравился. Не исключая, что я тоже представлял для него некий символ; он нервничал в моем присутствии и компенсировал свою нервозность излишне щедрыми восторгами по поводу состояния моих дел. Судя по тому, что Эдвин знал об этих делах довольно много, во всяком случае на поверхностном уровне, он не раз обсуждал их с моим отцом. В конце концов его бесхитростное простодушие подвигло меня на откровенность; я прямо сказал ему, что случилось с моей работой. После чего, уже по инерции, рассказал и о квартире.

– Со мной, Питер, тоже такое было, – сказал он, чуть подумав. – Давно, сразу после войны. Можно бы подумать, что тогда было много свободных рабочих мест, но парни возвращались из армии сплошным косяком, и первое время устроиться было трудно.

– И что же вы сделали?

– Тогда мне было примерно столько же, сколько тебе сейчас. Начать все заново можно в любом возрасте. Я немного посидел на пособии, а затем устроился на работу к твоему отцу. Ты же знаешь, как мы с ним встретились.

Ничего такого я не знал. Еще один пережиток детства: я как-то считал самоочевидным, что родители и их друзья никогда не знакомились, а знали друг друга всю жизнь.

Эдвин напоминал мне моего отца. Физически совершенно непохожие, они были примерно одного возраста и имели близкие интересы. Мне казалось, что они сходны внутренне, но это сходство было по большей части порождено моим собственным воображением. Оно проявлялось разве что в тягучем северном акценте, в разговорных интонациях и в подчеркнутом прагматизме.

Эдвин казался точно таким же, как я его запомнил, но это было абсолютно невозможно. Мы с ним оба постарели на пятнадцать лет, так что, когда я последний раз его видел, ему не было еще и пятидесяти. Теперь его волосы поседели и заметно поредели, на шее и вокруг глаз пролегли глубокие морщины, а правая рука плохо гнулась, по поводу чего он отпустил пару замечаний. Эдвин никоим образом не мог выглядеть так прежде, и все равно сейчас, в гостиничном ресторане, его знакомая внешность вселяла в меня спокойствие и нечто вроде уверенности.

Мне подумалось о других людях, которых я встречал по прошествии времени. Каждый раз это было начальное изумление, внутренний толчок: ну как же он изменился, как же она постарела. Затем, уже через несколько секунд, восприятие подстраивается, и ты видишь практически одни лишь сходства. Мозг приспосабливается, а вслед за ним и глаза; результаты старения, различия в одежде и прическе вырезаются цензорскими ножницами желания видеть непрерывность. Узнавание самых существенных черт заставляет сомневаться во всех прочих воспоминаниях. Человек может похудеть или располнеть, но его рост и костная структура остаются прежними. Вскоре начинает казаться, что ничего, в общем-то, не изменилось. Мозг перекраивает память о прошлом по образу и подобию настоящего.

Я знал, что Эдвин еще не отошел от дел. Поработав несколько лет на моего отца, он организовал свою собственную мастерскую. Первое время она занималась разной технической мелочевкой, но мало-помалу превратилась в завод, специализировавшийся на изготовлении клапанов и вентилях. В те дни главным заказчиком было министерство обороны, и Эдвин снабжал своими клапанами Королевские военно-морские силы. Когда-то он намеревался уйти на покой в шестьдесят лет, но бизнес процветал, и работа доставляла ему удовольствие. Она занимала большую часть его жизни.

– Ты бывал когда-нибудь в Херефордшире, рядом с валлийской границей? Я купил там маленький домик. Ничего такого особенного, но для нас с Мардж вполне хватит. Мы думали переселиться туда еще в прошлом году, но как-то не собрались, и домик до сих пор не приведен в порядок. Он так и продолжает пустовать.

– А много там с ним работы? – поинтересовался я.

– Да ничего существенного, все на уровне побелить-покрасить. Просто там уже пару лет никто не живет. Нужно бы, конечно, проводку поменять, но с этим не горит. Ну и водопровод там малость допотопный.

– А хотите я им займусь? Не знаю, справлюсь ли я с водопроводом, но со всем остальным – вполне.

Идея была неожиданная и очень соблазнительная. Уникальная возможность сбежать ото всех этих проклятых проблем. В контексте моей свежобретенной ненависти к Лондону сельская местность приобрела манящие, романтические черты. Когда Эдвин заговорил о своем домике, эта смутная мечта начала обретать реальную форму; к тому же не подлежало сомнению, что, оставаясь в Лондоне, я не сделаю ничего полезного, а только буду все глубже погружаться в трясину беспомощной жалости к себе. А теперь я воспрял духом и стал уговаривать Эдвина сдать мне этот домик.

– Да что ты, – сказал Эдвин, – ничего я с тебя за него не возьму, живи сколько потребуется. Если, конечно, ты согласен мал-мала навести там порядок. Ну и еще, когда мы с Мардж решим уйти на покой, тебе придется подыскивать что-нибудь другое.

– Да мне и нужно только на несколько месяцев. На такое время, чтобы снова встать на ноги.

– Это уж как знаешь.

Мы договорились обо всем буквально за несколько минут. Эдвин пришлет мне ключи по почте, и я поселюсь в его домике, как только захочу. Соседняя деревушка называется Уибли, до нее минут десять пешком, не больше. Нужно присматривать за садиком, до железнодорожной станции довольно далеко, внизу они хотят покрасить все в белый цвет, а насчет спален у Мардж какие-то собственные идеи, телефон отключен, но в деревне есть будка, нечистоты стекают в бак, нужно вызвать рабочих, чтобы его опорожнили, а может, и почистили.

К тому времени, как мы окончательно убедили друг друга, что это блестящая мысль, Эдвин уже не предлагал, а практически навязывал мне свой дом. Плохо, говорил он, что дом пустует, дома строятся, чтобы в них жить. Он договорится с местным мастером, чтобы тот починил водопровод, ну и, может быть, поменял часть проводки, но если я хочу ощущать, что отрабатываю свое проживание, то пожалуйста, могу работать, сколько мне заблагорассудится. Было только одно обязательное условие: Мардж хочет, чтобы за садом ухаживали неким вполне определенным образом. Возможно, они будут заезжать ко мне на выходные и тоже помогут по саду.

В дни, следовавшие за этой встречей, я впервые за много недель начал делать что-то осмысленное. Эдвин взбодрил меня, и в моих действиях появилась некая целеустремленность. Конечно же, я не мог сию секунду сорваться с места и уехать в Херефордшир, но теперь все, что я делал, было так или иначе связано с этой целью.

Чтобы вырваться из Лондона, мне потребовалось недели две. Нужно было продать, а частью раздать мебель, нужно было найти временное пристанище для моих книг, нужно было оплатить счета и зайти в банк. Я хотел вступить в новую жизнь ничем не обремененным; отныне и впредь я буду держать при себе только крайний минимум вещей, только то, без чего уж никак не обойтись. Затем подошел долгожданный момент переезда, и я нанял фургон на два рейса туда-обратно.

Перед тем как покинуть Лондон, я снова сделал несколько попыток найти Грацию. Она куда-то переехала, а когда я зашел по старому адресу, ее бывшая напарница по квартире захлопнула дверь с такой яростью, что чуть меня не зашибла. Грация не хочет меня больше видеть, никогда. Если я напишу письмо, его, так уж и быть, передадут, но лучше попусту людей не беспокоить. (Я все-таки написал, но не получил ответа.) Я попытал счастья в конторе, где она работала, но она оттуда уже уволилась. Общие знакомые тоже не знали, где она сейчас, или знали, но не говорили.

Все это ввергло меня в глубокую тоску и беспокойство, мне казалось, что Грация обошлась со мной нечестно. Снова накатило недавнее ощущение, что все против меня сговорилось, и моя эйфория насчет переезда в Эдвинов домик заметно увяла. Думаю, я подсознательно представлял себе, как переезжаю на лоно природы вместе с Грацией и как там, вдали от вечной суматохи городской жизни, мы перестанем ругаться и наша любовь станет зрелой и полноценной. Эта смутная надежда теплилась все то время, пока я готовился к переезду; когда же в последнюю минуту она окончательно рухнула, я с удвоенной остротой ощутил свое одиночество.

Две радостные недели я считал, что начинаю все заново, но, когда подошел момент отъезда, мне уже стало казаться, что все кончилось.

Наступило время для размышлений, для внутренней жизни. Все было не так, как мне хотелось, и это все было мне навязано.

2

Эдвинов дом располагался посреди лугов и полей, в двухстах ярдах по неухоженной аллее от дороги между Уибли и Херефордом; деревья и живые изгороди надежно защищали его от постороннего взгляда. Домик был двухэтажный, с белеными стенами, черепичной крышей, оконными переплетами в мелкий ромбик и огромной, как у конюшни, дверью. При нем имелся сад площадью примерно в половину акра, спускавшийся по пологому склону к чистому веселому ручейку. Предыдущие хозяева выращивали фрукты и овощи, но сейчас там все заросло. Перед домом и за ним имелись маленькие лужайки и несколько цветников. Большая часть фруктовых деревьев была посажена рядом с ручьем. Деревья нуждались в подрезке, а вся территория – в тщательной прополке.

Домик сразу же пробудил во мне собственнические инстинкты. Он был моим во всех смыслах, кроме юридического, и теперь, совершенно произвольно, я стал строить относительно него планы. Я представлял себе упоительные уикенды, своих друзей, приезжающих из Лондона, чтобы насладиться здоровой сельской пищей и патриархальным покоем, я заранее видел себя окрепшим в преодолении трудностей, лишь понаслышке знакомых обитателям больших городов. Возможно, я заведу себе собаку, резиновые сапоги, рыболовные снасти. Я твердо решил обучиться сельским ремеслам: плетению циновок, гончарному и плотницкому делу. Что касается дома, моими трудами он скоро преобразится в буколический рай, о каком большинство горожан может только мечтать.

Работы там было много. Как и предупреждал Эдвин, проводка оказалась дряхлой и ущербной, на весь дом напряжение было только в двух розетках. Как только я открывал кран, трубы начинали громко стучать, а горячей воды и вовсе не было. Туалет был забит. В некоторых комнатах стены сочились сыростью, весь дом нуждался в окраске как снаружи, так и внутри. На нижнем этаже пол был поеден жучком, потолочные балки верхнего этажа заметно подгнили.

Первые три дня я крутился как белка в колесе. Я пооткрывал все окна, подмел полы, стер пыль с полок и из шкафчика. Я потыкал в унитаз длинной жесткой проволокой, а затем осторожно заглянул под ржавую крышку бака для нечистот. Я накинулся на сад и огород, безжалостно вырывая из земли каждое растение, бывшее на мой не слишком-то опытный взгляд сорняком. Я навестил единственный в Уибли магазинчик и договорился о еженедельной доставке заказанных мною продуктов. Я закупил целую кучу инструментов и приспособлений, никогда не присутствовавших в моей прошлой жизни: клещи, плоскогубцы, пилу, шпатель для оконной замазки, кисти и так далее, а заодно – кастрюли и сковородки. Затем наступил уикенд, приехали Эдвин с Мардж, и весь мой энтузиазм разом испарился.

Было очевидно, что Мардж далеко не в восторге от щедрости своего супруга. Как только они появились в доме, я понял, что Эдвину пришлось горько пожалеть о своем великодушном предложении. Он виновато мялся где-то на заднем плане, в то время как Мардж взяла все управление на себя. С самого начала она поставила меня в известность, что у нее были свои собственные планы относительно этого дома, и в этих планах никак не значилось проживание там некоей посторонней личности. Нет, она ничего подобного не говорила, это просто явствовало из каждого ее взгляда, каждого замечания.

Мардж я помнил более чем смутно. В давние дни, когда они заходили к нам в гости, Эдвин неизменно доминировал. Мардж была просто некоей женщиной, которая пила чай, говорила о своих болях в спине и помогала вымыть посуду. Теперь это была пухлая, весьма прагматичная дама, имевшая по каждому вопросу свое собственное мнение. В частности, она имела уйму соображений относительно того, как следует приводить в порядок дом, однако не сделала ни малейшей попытки применить эти соображения на практике. В саду

она развела более активную деятельность, пальцем указывая, какие растения следует сохранить, а какие отправить в компостную кучу. Позднее я помог Миллерам выгрузить из машины многочисленные банки грунтовок и краски, и Мардж подробно объяснила мне, в какие цвета нужно выкрасить ту или иную стену. Я все это записал, а она потом тщательно проверила.

Жить в доме было фактически негде, а потому они сняли комнату в деревне, над пабом. В субботу утром Эдвин отвел меня в сторону и объяснил, что водители бензовозов бастуют, а потому на всех заправочных станциях длинные очереди, и что, если я не возражаю, они покинут меня сразу после завтрака. Это было единственное, что он сказал мне за весь уикенд, и мне было его жалко.

Затем они уехали, оставив меня растерянным и удрученным. Уикенд прошел из рук вон плохо. Я чувствовал себя загнанным в ловушку, на строительство которой пошли моя благодарность Эдвину, мое неловкое понимание, в какой переплет попал он из-за меня, а также мои жалкие попытки оправдать свое существование, доказать свою полезность. Мне приходилось им нравиться, и меня тошнило от угодливости, сквозившей в моем голосе, когда я разговаривал с Мардж. Они безжалостно напоминали мне о временности моего пребывания в этом доме, напоминали, что я занимаюсь уборкой и ремонтом не для себя, что это всего лишь некая форма арендной платы.

Я был чувствителен к малейшим неприятностям. На три дня кряду я и думать забыл о своих бедах, но теперь, после визита Миллеров, я снова начал мусолить в голове события последнего времени и в первую очередь свой разлад с Грацией. Ее исчезновение из моей жизни, происшедшее в крайне обескураживающей форме – с бешенством, слезами, уличной сценой, – не могло не вывести меня из равновесия, тем более после столь долгой связи.

Я начал тосковать о том, что осталось в городе: о знакомых, о книгах и пластинках, о телевизоре. Я остро ощущал свое одиночество и отсутствие телефона. Наперекор логике и здравому смыслу я каждое утро ждал писем, хотя оставил свой новый адрес лишь очень немногим друзьям и отнюдь не надеялся, что кто-нибудь из них мне напишет. Живя в Лондоне, я держал руку на пульсе мира: постоянно читал газеты, покупал несколько еженедельников, общался с друзьями, слушал радио и смотрел телевизор. Теперь я словно повис в пустоте. Это произошло в соответствии с моим собственным замыслом, и все равно мне казалось, что меня ограбили, обездолили. Само собой, никто не мешал мне покупать газету в деревне, что я пару раз и делал, однако тут же выяснилось, что мои потребности имеют отнюдь не внешний характер. Пустота гнездилась во мне самом.

День ото дня моя мрачная озабоченность нарастала. Меня охватили апатия и безразличие ко всему окружающему. День за днем я ходил в одной и той же рубашке, я перестал бриться, перестал умываться и ел только простейшую в приготовлении пищу. Я спал допоздна и с трудом заставлял себя встать с кровати; день за днем меня одолевали головные боли и неприятная скованность во всем теле. Я выглядел больным и чувствовал себя больным, хотя и был абсолютно уверен, что мое физическое здоровье в полном порядке.

Было уже начало мая, весна вступила в свои права. С того времени, как я переехал за город, не было ни одного погожего дня, хотя и сильных дождей тоже не было. А потом погода как-то сразу улучшилась, сад наконец-то зацвел, начали распускаться цветы на клумбах. Появились пчелы, стрекозы, изредка – осы. По вечерам под деревьями и у входа в дом висели тучи комаров. Я стал замечать птичье пение, особенно по утрам. Впервые в жизни я пристально наблюдал за всеми этими загадочными существами: в городе их практически нет, а во время давних школьных «выездов на природу» кишачая вокруг жизнь ничуть меня не интересовала.

Сейчас она меня радовала, но эту радость сильно портили беспрестанное обдумывание все тех же моих неприятностей и столь же беспрестанные потуги – иначе это не назовешь – выкинуть их из головы.

Имея в виду враз положить конец как своей депрессии, так и стараниям ее побороть, я решил всерьез приступить к работе, вопрос состоял лишь в том, с чего лучше начать. В саду, например, не успевал я прополоть очередной участок, как то, что было прополото несколькими днями раньше, снова зарастало до безобразия. В доме процесс ремонта был связан со столькими осложнениями, что казался попросту бесконечным. Прежде чем приступить к окраске стен, нужно было многое починить и исправить.

Я решил, что для облегчения задачи следует заранее представить себе ее результат. Если перед моими глазами будет стоять образ прополотого сада с аккуратно подрезанными цветущими деревьями, это даст мне серьезный стимул. Представить себе чисто прибранные комнаты с аккуратно покрашенными стенами – значит выполнить едва ли не половину работы. Это мое открытие стало важнейшим шагом вперед.

В доме я взялся сперва за нижний этаж, где стояла моя кровать. Собственно говоря, весь этаж состоял из одной-единственной просторной комнаты. В одном ее конце было узкое окно, выходившее вперед – на сад, живую изгородь и подъездную аллею, а в другом – гораздо большее окно с видом на задний сад.

Я работал не покладая рук, подбадривая себя зрительным образом того, как будет выглядеть эта комната в конечном итоге. Я вымыл стены и потолок, зашпаклевал выкрошившуюся штукатурку, отчистил шкуркой дверные косяки и рамы, а затем покрыл все двумя слоями белой эмульсионной краски, которую привезли Эдвин и Мардж. Комната волшебным образом преобразилась; это была уже не жалкая трущоба, а светлое, просторное и даже элегантное жилище. Я тщательно отскреб половицы от потеков белой краски, покрыл их лаком, вымыл окна, а затем по какому-то наитию сходил в Уибли, купил несколько больших тростниковых циновок и постелил их на пол.

К моему полному восторгу, комната получилась точно такой, какой я ее прежде представлял, концепция воплотилась в жизнь.

Иногда я сидел в этой комнате часами кряду, наслаждаясь прохладным покоем. При открытых окнах легкий сквозняк продувал ее насквозь, принося аромат жимолости, росшей под окнами, – аромат, известный мне до того лишь по химическим имитациям.

Белая, как называл я ее про себя, комната стала средоточием моей деревенской жизни.

Закончив ее ремонт, я вернулся к своему интроспективному настроению, однако теперь, после нескольких дней, занятых исключительно работой, мои мысли стали гораздо отчетливее. Ковыряясь в саду и начиная приводить в порядок другие комнаты, я размышлял о том, что я делаю со своей жизнью и что я делал с ней раньше.

Прошлая жизнь виделась мне как полный бедлам, беспорядочная мешанина случайных событий. Ничто в ней не имело смысла, никакие два элемента не находились во сколь-нибудь внятном соотношении. Я твердо решил, что постараюсь привести свои воспоминания хотя бы в некое подобие порядка. Вопрос «А зачем?» даже не возникал, мне просто казалось, что это жизненно важно.

Однажды утром я взглянул на кухне в старое, облезлое зеркало, увидел в его глубине знакомое лицо – и не смог сопоставить его с чем бы то ни было, что знал о себе. Я лишь пытался переварить лишенный всякого смысла факт, что этот человек с мутными глазами и щетиной на бледном, нездорового цвета лице – не кто иной, как я, итог двадцати девяти без малого лет жизни.

Я вошел в период самовопрошания: как стал я таким, как оказался в этом месте, откуда у меня такие мысли? Что это, постоянное невезение, как то подсказывает мне услужливый мозг, или результат некой глубинной неадекватности? Я начал размышлять.

Для начала меня заинтересовала реальная хронология моих воспоминаний.

Я знал общий порядок своей жизни, последовательность, в которой происходили крупные либо важные события, знал потому, что они существенно входили в общий процесс взросления. Но вот подробности от меня ускользали. Разнообразнейшие фрагменты моей прошлой жизни – места, где я был, люди, которых я знал, поступки, которые совершал, – смешались в хаотичную неразбериху, и теперь следовало найти им всем точное место в порядке вещей.

Сперва я поставил себе целью полное воспоминание о прошлом – взять, к примеру, свое поступление в школу и, начиная с этой точки, вспомнить все подробности: чему меня тогда учили, как звали моих учителей, как звали других ребят в нашей школе, где я тогда жил, где работал мой отец, какие я читал книги, какие смотрел фильмы, с кем дружил и с кем враждовал.

Ремонтируя очередную комнату, я непрерывно бормотал себе под нос всю эту ерунду, настолько же бессвязную в это время, насколько бессвязной была, надо думать, и вся моя жизнь.

Затем самым важным стала форма. Стало ясно, что нужно установить не только *порядок*, в котором развивалась моя жизнь, но и относительную значимость каждого события. Я был результатом этих событий, этого обучения, и я утратил контакт с тем, чем я был. Теперь мне требовалось открыть эти события заново, возможно – даже заново выучить то, что я утратил.

Я стал расплывчатым и неопределенным. У меня нет иного способа вновь обрести ощущение собственной личности, чем через воспоминания.

Вскоре стало невозможно сохранять открываемое. У меня голова шла кругом от стараний сначала вспомнить, а затем удержать вспомненное. Я прояснял какой-нибудь конкретный отрезок своей жизни – во всяком случае, мне так казалось, – но затем, перейдя к другому году или другому месту, я обнаруживал, что либо между событиями имелось некое труднообъяснимое сходство, либо я что-то напутал в первый раз.

В конце концов я осознал, что нужно все это записывать. Фелисити подарила мне на предыдущее Рождество портативную пишущую машинку, и вот теперь я извлек ее из груды своих вещей, водрузил на стол, стоявший посреди моей белой комнаты, без промедления взялся за работу и почти сразу же начал прозревать в себе загадки и тайны.

3

Силой фантазии я ввел себя в мир. Я писал по внутренней необходимости, по необходимости создать более ясное видение самого себя, и в процессе писания я *стал* тем, что я писал.

Это не было чем-то таким, что я мог понять, я просто ощущал это на инстинктивном, эмоциональном уровне.

Этот процесс был в точности подобен созданию моей белой комнаты. Вначале она была всего лишь идеей, а затем я воплотил эту идею в жизнь, покрасив комнату так, как это мне представлялось. Я открывал себя таким же образом, только через напечатанные слова.

Я начал писать, нимало не подозревая о связанных с этим трудностях. Во мне горел энтузиазм ребенка, впервые получившего коробку цветных карандашей, энтузиазм буйный, безбрежный и абсолютно беззастенчивый. Позднее все это, конечно же, изменилось, но в тот вечер я работал с невинной, чуждой рефлексии энергией, буквально выплескивая поток слов на бумагу. Захваченный и опьяненный новым для себя занятием, я часто перечитывал напечатанное, вносил от руки поправки и выписывал на полях новые, только что пришедшие в голову мысли. Уже тогда во мне бродило некое смутное недовольство, однако я его игнорировал, упиваясь ошеломляющим ощущением свободы, удовлетворения. И то сказать, мне впервые приходилось вводить себя в мир!

Я лег позднее обычного, но все равно долго не мог уснуть и только ворочался в спальном мешке с боку на бок. Утром я торопливо позавтракал и вернулся к прерванному повествованию, забыв и думать о незавершенном ремонте. Моя творческая энергия все так же была ключом, напечатанные страницы сходили с валика машинки сплошным, неудержимым, как мне казалось, потоком. Закончив очередную страницу, я бросал ее куда попало на пол, внося в свое творение временный, легко устранимый хаос.

А потом все вдруг застопорилось.

Это случилось на четвертый день, когда вокруг стола валялось уже свыше шестидесяти готовых листов. Каждый из них был знаком мне до мельчайших подробностей, так страстно стремились они быть написанными, так часто я их перечитывал. В том, что не было еще написано, что лишь виделось впереди, горело то же стремление воплотиться. У меня не было и тени сомнения, *что* последует дальше, что останется несказанным. И вот при всем при том я запнулся на полуфразе и не мог продолжать.

Казалось, я насухо исчерпал свой метод повествования. Внезапно обострившееся чувство ответственности заставило меня усомниться и в том, что было уже сделано, и в том, что я собирался сделать в дальнейшем. Я просмотрел наугад несколько страниц, и все в них показалось мне наивным, болтливym, банальным и скучным. Я заметил отсутствие знаков препинания и уйму орфографических ошибок, заметил, что по многу раз повторяю одни и те же слова; даже те суждения и наблюдения, которыми я особо гордился, стали казаться мне очевидными и мало относящимися к делу.

Я видел, что все в этой торопливой писанине из рук вон плохо, и сгорал от стыда за собственную неполноценность.

Оставив на время сочинительство, я начал искать выход своей энергии в будничных, прозаических работах по дому. Закончив окраску одной из верхних комнат, я сразу перенес туда все свои вещи, включая матрас и спальник; отныне моя белая комната станет писательским кабинетом и ничем кроме. Затем пришел нанятый Эдвином водопроводчик, он начал приводить в порядок гремучие трубы и устанавливать бойлер; я же использовал это время, чтобы трезво обдумать свои просчеты и учесть их, составляя планы на будущее.

До этого момента я писал, полагаясь исключительно на свою память. Стоило бы, конечно же, поговорить с Фелисити и, если повезет, заполнить с ее помощью некоторые пробелы в моих детских воспоминаниях. К сожалению, этот вариант полностью отпал, потому что наши с ней отношения давно превратились в сплошную вереницу ссор, самая последняя из которых и самая яростная случилась совсем недавно, вскоре после смерти отца. Вряд ли она вспыхнет сочувствием к тому, чем я тут занимаюсь, да и вообще – это же *мое* повествование, мое и только мое, я не хотел смотреть на прошлые события чужими глазами.

Вместо этого я позвонил ей и попросил прислать альбомы с семейными фотографиями. Фелисити забрала себе большую часть отцовских вещей, включая и все старые снимки, но, насколько я понимал, они ей были не слишком нужны. Можно не сомневаться, что сестрица изумилась моей неожиданной просьбе – при нашей последней встрече, после похорон, я сам отказался от этих альбомов, – однако виду не подавала и обещала мне их прислать.

Тем временем водопроводчик ушел, и я вернулся к пишущей машинке.

На этот раз после перерыва я подошел к делу гораздо серьезнее и основательнее. Мне стало ясно, что нельзя писать все подряд, без разбора.

Память весьма ненадежна, не говоря уж о том, что детское восприятие событий зачастую искажается внешними воздействиями, совершенно незаметными для самого ребенка. Детям не хватает перспективы, их кругозор предельно узок, а интересы – эгоцентричны. Большую часть пережитого они воспринимают в интерпретации своих родителей. Их внимание неразборчиво и с равной вероятностью останавливается как на важных, так и на пустяковых вещах.

Следует к тому же сказать, что плоды моей первой попытки представляли собою не более чем набор кое-как соединенных фрагментов, в то время как теперь я хотел рассказать связную историю, рассказать таким образом, чтобы она имела вполне определенную форму, рассказать в соответствии с заранее составленным планом.

И тут почти сразу мне открылась основная сущность того, что я хотел написать.

Как и прежде, главным и единственным предметом моего повествования буду я сам: моя жизнь, мои впечатления, мои надежды, мои разочарования, моя любовь. Однако при первой попытке я промахнулся в том, что описывал эту жизнь в хронологическом порядке. Я начал с самых ранних своих воспоминаний, намереваясь взрослеть на бумаге в точном подобии тому, как взрослел я в реальной жизни. Теперь я видел, что следует быть более изобретательным.

Чтобы разобраться с собой, мне следовало относиться к себе более объективно, изучать себя примерно таким же образом, как изучается герой в романе. Описанная жизнь не идентична реальной. Жить – не искусство, в то время как описывать жизнь – искусство. Жизнь – это серия случайностей, взлетов и падений, плохо запомненных и неверно понятых, серия преподанных, но лишь в малой степени воспринятых уроков.

Жизнь безалаберна, у нее нет формы, нет *сюжета*.

На протяжении всего детства мир вокруг тебя полон тайн. Они являются тайнами лишь потому, что никто их толком тебе не объяснил, либо из-за малости твоего опыта, но все равно остаются в памяти тайнами, потому что будоражили твое воображение. Потом, когда ты повзрослеешь, придут простые и очевидные объяснения, однако они бессильны что-нибудь сделать, потому что скучны, лишены присущей тайнам привлекательности.

Так что же вернее – воспоминание или факт?

В третьей главе моего второго варианта я начал описывать случай, идеально иллюстрирующий эту дилемму. Случай связан с дядюшкой Вильямом, старшим братом моего отца.

Я прожил значительную часть своего детства, ни разу не увидев Вильяма, или Билли, как его называл отец. Над именем Билли всегда висело нечто вроде облачка: мать относилась к нему с нескрываемым неодобрением, в то время как для отца он был чем-то вроде

героя. С ранних лет я слышал от отца рассказы о хулиганских проделках, в которых участвовали они с Билли. Билли всегда попадал в какие-нибудь неприятности и был большим специалистом по части розыгрышей и далеко не безобидных шуток. Мой отец вырос и стал успешным, уважаемым инженером, в то время как Билли раз за разом ввязывался в какие-то сомнительные дела: плавал на кораблях, продавал подержанные автомобили, торговал залежалыми излишками с армейских складов. Лично я не видел в этом ничего зазорного, однако мама придерживалась иного мнения.

И вдруг, как снег на голову, дядя Вильям появился в нашем доме, наполнив мою жизнь радостным возбуждением. Высокий и дочерна загорелый, Билли щеголял большими пушистыми усами и ездил в открытой машине со старомодным гудком. Он говорил, шикарно растягивая слова, и носил меня, визжащего от восторга, по саду вверх тормашками. Его большие ладони были покрыты жесткими темными мозолями, и он курил вонючую трубку. Его глаза видели очень далеко. Прогулка с ним на машине стала для меня головокружительным приключением, он вихрем проносился по проселочным дорогам и пугал полицейского, мирно крутившего педали велосипеда, трубными звуками своего гудка. Он купил мне игрушечный автомат, стрелявший маленькими деревянными пулями, и научил меня строить укромное убежище в ветвях дерева.

Затем он исчез так же неожиданно, как и появился, и меня отослали спать. Я лежал в своей комнате и слышал, что родители о чем-то спорят. Слов я не разбирал, но помню, что отец вдруг начал громко кричать и вышел, хлопнув дверью, и что потом мама заплакала.

Я не видел дядю Вильяма больше ни разу, и даже родители перестали его упоминать. Раз или два я пробовал спросить о нем, но родители ловко, как то умеют все родители и не умеют дети, уводили разговор куда-нибудь в сторону. Примерно через год отец сообщил мне, что Билли работает теперь за границей («где-то там, на востоке») и что вряд ли я снова его увижу. Голос его звучал как-то не так, что всколыхнуло во мне сомнения, но эти сомнения тут же улетучились – ребенком я был вполне простодушным и предпочитал верить тому, что мне говорят. Тем все и кончилось, но еще долго приключения дядюшки Вильяма за границей будоражили мою фантазию: с некоторой помощью от взапой читаемых мною комиксов я видел, как он взбирается на неприступные горы, охотится на диких зверей и строит железные дороги. Все это легко сопрягалось с тем, что я о нем знал.

Когда я вырос и начал думать самостоятельно, я понял, что отец, по всей видимости, сказал мне неправду, что внезапное исчезновение Билли почти наверняка имело простую, вполне прозаическую причину, но даже и тогда его сияющий образ ничуть не потускнел.

Правда обнаружилась гораздо позднее, когда отец уже умер и я разбирал его бумаги. Среди них было письмо от начальника даремской тюрьмы, извещавшее, что дядюшка Вильям помещен в тюремный лазарет; во втором письме, датированном несколькими неделями позднее, сообщалось, что он умер. После нескольких запросов в министерство внутренних дел я выяснил, что Вильям отбывал двенадцатилетний срок за вооруженное ограбление. Преступление, за которое его посадили, было совершено меньше чем через неделю после того потрясающего, сумасшедшего июльского дня.

И даже сейчас, когда я это пишу, мое воображение все еще рисует дядю Билли в некоей экзотической стране, воюющим с людоедами или несущимся на лыжах по горному склону.

Оба варианта его личности истинны, только истины у них разные. Одна из них убога, неприятна и окончательна, в то время как другая обладает, в моей личной терминологии, фантазийной достоверностью, не говоря уж о том весьма привлекательном обстоятельстве, что она позволяет Билли однажды вернуться.

Чтобы обсуждать в своем повествовании проблемы вроде этой, я должен взглянуть на них и на себя со стороны. Это связано с удвоением меня, если не с утроением.

Есть я, который пишет. Есть я, которого я вспоминаю. И есть еще я, о котором я пишу, герой этого повествования.

Мой мозг ни на секунду не забывал принципиального различия между истиной фактов и истиной фантазии.

Но как ни крути, в основе всего лежала память, и не было дня, чтобы я не получил напоминания о том, сколь она ограничена и ненадежна. Я узнал, к примеру, что сами по себе воспоминания отнюдь не складываются в сюжет. Существенные события вспоминаются в последовательности, негласно заказанной подсознанием, и нужны постоянные усилия, чтобы перегруппировать их в связный рассказ.

В раннем детстве я сломал себе руку, о чем напомнила мне фотография в одном из присланных Фелисити альбомов. Но когда это случилось – до того, как я пошел в школу, или после, до или после смерти бабушки, мамы моей мамы? Каждое из этих трех событий произвело на меня сильное впечатление, все они наглядно мне продемонстрировали враждебную, случайную природу мира. Прежде чем писать, я попытался вспомнить порядок, в котором они произошли, – попытался, но не смог, память меня подвела. В результате мне пришлось наново изобретать эти события, выстраивая их в непрерывную последовательность, чтобы понятнее показать, почему они так на меня повлияли.

И даже внешние подпорки памяти оказались ненадежны, прекрасным примером чего была моя сломанная рука.

Я знаю, что у меня была сломана левая рука, знаю, потому что такие вещи не путаются и не забываются, не говоря уж о том, что и по сей день моя левая рука заметно слабее правой. Здесь вроде бы нет места для сомнений. Но вот я беру в руки единственное документальное свидетельство этой травмы, небольшую серию черно-белых снимков, сделанных тем летом, когда мы отдыхали всей семьей. И вот там, на нескольких кадрах, снятых на фоне залитого солнцем сельского пейзажа, присутствую я, скорбного вида ребенок с *правой* рукой в белой гипсовой повязке.

Я наткнулся на эти фотографии примерно в то самое время, когда описывал соответствующий случай на бумаге, и они меня ошеломили. Несколько секунд я пребывал в полном замешательстве, ведь неожиданное открытие ставило под вопрос все мои прошлые взгляды на воспоминания. Само собой, я очень скоро сообразил, что произошло в действительности: тот, кто печатал эту пленку, случайно перевернул ее, вставляя в увеличитель. Придя к такому выводу, я пригляделся к снимкам повнимательнее – сперва-то меня интересовала исключительно собственная персона – и обнаружил множество подтверждающих деталей: зеркально перевернутую надпись на автомобильном номере, машины, едущие не по той стороне улицы, пуговицы не на той стороне одежды и так далее.

Все предельно просто, однако этот случай открыл мне два обстоятельства, касающиеся меня же самого: у меня возникла и день ото дня крепнет страсть проверять и перепроверять то, что казалось мне прежде очевидным, и я не могу полностью полагаться ни на что, касающееся прошлого.

Здесь в моей работе возникла вторая пауза. Хотя я был вполне удовлетворен своим новым творческим методом, каждое очередное открытие было чем-то вроде ухаба, на котором я спотыкался. Я все острее понимал, насколько обманчива проза. Каждая написанная фраза содержит ложь.

Я вернулся к началу текста и начал его править, переписывая отдельные пассажи по многу раз. Каждый очередной вариант слегка изменял жизнь в лучшую сторону. С каждым разом, когда я переписывал *часть* истины, все ярче и отчетливее высвечивалась истина цельная.

Вскоре после того, как я закончил процесс ревизии и пошел дальше, передо мной возникла новая трудность.

По мере того как мое повествование переходило от детского возраста к подростковому, а затем и к ранней юности, в нем появлялись новые персонажи. Это были не родственники, а посторонние люди, входившие в мою жизнь и в некоторых случаях оставшиеся частью ее и по сю пору. В частности, следует отметить группу друзей, сохранившихся у меня со студенческих лет, и целый ряд близких мне женщин. С одной из них, девушкой по имени Алиса, я даже был одно время помолвлен. Мы всерьез намеревались пожениться, но потом все как-то расстроилось. Алиса вышла замуж за кого-то там другого, родила двоих мальчиков, однако у нас по-прежнему сохранились самые теплые, доверительные отношения. А еще, конечно же, Грация, которая последние годы играла в моей жизни весьма значительную роль.

Если я намерен и дальше служить своему навязчивому стремлению к истине, в общую картину должны войти и эти отношения. Каждая новая дружба обозначала некий выход из состояния, ей предшествовавшего, и каждая любовница меняла мои представления о жизни в ту или иную сторону. Как ни мала была вероятность, что хоть один из героев моей рукописи когда-нибудь ее прочтет, одно уже то, что я до сих пор с ними знаком, вынуждало меня к сдержанности.

Кое-что из того, о чем я думаю написать, может оказаться для них неприятным, а ведь я хочу сохранить за собой свободу описывать свой сексуальный опыт во всех, кроме разве что самых интимных, подробностях.

Конечно, можно бы просто напустить тумана вокруг места и времени действия и поменять имена персонажей в вящей надежде, что никто их не узнает, однако это никак не было бы той истиной, к которой я стремился. Но в то же время эти люди оказали на меня слишком серьезное влияние, чтобы попросту о них умолчать.

В конце концов я решил прибегнуть к полной трансформации. Я придумывал себе новых друзей и любовниц, давая им вымышленные характеры и биографии. Кое-кого из них я сделал своими давними, еще с детских лет, друзьями, хотя в реальной жизни я давно потерял контакт со всеми, кого знал по школе. Теперь повествование стало более связным, его сюжет более логичным. Все получило некий смысл и значимость.

Практически ничто не пропало впустую, каждый описанный случай или персонаж был завязан на какой-нибудь элемент повествования.

Вот так я и работал, узнавая в процессе все больше и больше о себе самом. Истина строилась в ущерб буквальным фактам, но это была высшая, *лучшая* форма истины.

По мере того как продвигалась рукопись, я все больше входил в состояние ментального возбуждения. Я спал не больше пяти-шести часов в сутки и, просыпаясь, сразу бросался к столу, чтобы перечитать написанное вчера. Я подчинил писанию буквально все – ел только тогда, когда это становилось абсолютно необходимо, и ложился в постель только тогда, когда начинали слипаться глаза. Все прочее оставалось в полном небрежении, начатый ремонт откладывался на неопределенное будущее.

За окнами стояло безжалостно жаркое лето. Сад безобразно зарос, к тому же теперь земля в нем посерела и растрескалась, трава пожухла. Деревья погибали, а ручеек в дальнем конце сада пересох. При нечастых визитах в Уибли я слышал, как люди говорят о погоде. Жара перешла в самую настоящую засуху, фермерам приходилось забивать скот, воду отпускали по скудному рациону.

Дни напролет я сидел в своей белой комнате, насквозь продуваемой теплым сквозняком из окон. Небритый и голый по пояс, я являл собой, надо думать, довольно убогое зрелище, но какая разница, мне-то самому было вполне удобно.

А потом как-то совершенно неожиданно мое повествование кончилось. Оно словно пересохло, все события были описаны, писать дальше было не о чем.

Это было непонятно, почти невероятно. Я ожидал, что в конце наступит внезапное освобождение, осознание себя заново, что это будет сродни возвращению из долгого много-

трудного похода. Но повествование просто застопорилось, оборвалось безо всяких выводов и откровений.

Неожиданная ситуация меня расстроила и даже несколько возмутила; ведь так получалось, что вся моя работа пошла впустую. Я перелистал испещренные поправками страницы, задаваясь вопросом, в чем причина такой неудачи. По всем признакам мой рассказ планомерно продвигался к заключению, но он попросту кончился на том месте, где мне стало нечего больше сказать. Последней была описана моя жизнь в Килбурне, еще до разрыва с Грацией, до смерти отца и до того, как я остался без работы. Я не мог писать дальше, потому что все «дальше» было здесь, в Эдвиновом домике. А где же конец?

Мне пришло в голову, что единственно верным концом будет такой, которого не было. Иными словами, раз уж я пожертвовал точностью своих воспоминаний, чтобы составить из них рассказ, то и заключение рассказа тоже должно быть воображаемым.

Но чтобы сделать это, я должен был сперва признать, что стал в действительности двумя людьми – собой и героем своего повествования.

В этот момент мне стало совестно за небрежение к дому. Крайне разочарованный своим писанием и своей неспособностью с ним справиться, я с радостью ухватился за возможность передохнуть. Я провел последние жаркие дни сентября в саду, обрезая чрезмерно разросшиеся кусты и собирая с деревьев немногие оставшиеся на них фрукты. Я подстриг лужайку и перекопал пересохшие грядки огорода.

Покончив с этим, я выкрасил еще одну комнату верхнего этажа.

По той, вероятно, причине, что я оторвался от неудачной рукописи, она снова стала будоражить мои мысли. Я знал, что нужно сделать последнее, решающее усилие и привести ее в порядок. Мне требовалось придать ей законченную форму, однако этого нельзя было сделать, не придав сперва форму моей повседневной жизни.

Мне пришло в голову, что ключ к полноценной, осмысленной жизни лежит в организованности. Я построил себе распорядок дня: один час на уборку, два часа на ремонт и работы в саду, шесть часов сна. Я буду регулярно мыться, есть по часам, бриться, стирать одежду, и на все у меня будет вполне определенный час суток и день недели. То, что в прошлом моя безудержная потребность писать определила всю мою жизнь, было, возможно, в ущерб самому писанию.

Теперь же, парадоксально освобожденный наложенными на себя ограничениями, я сразу, как только приступил к третьему варианту, ощутил необыкновенную легкость.

Наконец-то мне стало в точности ясно, как должно строиться мое повествование. Если более глубокая истина может быть поведена только при помощи вымысла – иначе говоря, при помощи метафоры, – то для достижения абсолютной истины я должен сотворить абсолютный вымысел. Моя рукопись должна стать метафорой меня самого.

Я сотворил воображаемое место и воображаемую жизнь.

Мои прежние попытки были тусклыми и зашоренными. Я описывал себя в координатах духовной жизни и чувств. Внешние события были чем-то смутным, почти призрачным, находились на самом краю поля зрения. И это не потому, что мне того хотелось, просто реальная жизнь оказалась слишком уж бессюжетной, она крошилась на отдельные эпизоды и почти не давала пищи для воображения. Сотворив же воображаемый мир, я получил возможность структурировать его применительно к своим собственным нуждам, насыщать его символами, связанными с моей жизнью. Важнейшим, определяющим шагом был осуществленный мною раньше отказ от чисто автобиографического повествования; теперь я пошел еще дальше и поместил героя, себя метафорического, в предельно многообразную, избыточную стимулами обстановку.

Я изобрел город по имени Джетра – по замыслу, некая помесь Лондона, где я родился, и пригородов Манчестера, где прошло почти все мое детство. Джетра была столицей Фай-

андленда – спокойной и несколько старомодной страны, гордящейся своей историей, богатыми традициями и культурой, однако испытывающей определенные трудности во взаимодействии с современным, настроенным на жесткую конкуренцию миром. Джетра была главным портом Файандленда и располагалась на южном его побережье. Позднее я с пятого на десятое описал некоторые другие страны этого мира и даже набросал приблизительно его карту, но почти сразу ее выкинул, чтобы не сковывала мое воображение.

Постепенно эта вымышленная обстановка стала самоценной, приобрела значение едва ли меньшее, чем жизнь включенного в нее героя. Я еще раз увидел, насколько вымышленные подробности помогают раскрытию глубинной правды.

Вскоре я совсем освоился с новым миром. Прежде мои вымыслы казались неуклюжими и надуманными, однако теперь в этой вымышленной стране их достоверность не вызвала никаких сомнений. Если прежде я менял порядок событий с единственной целью их прояснить, то теперь оказалось, что тому были причины, понятные мне лишь на уровне подсознания. С переходом к вымышленной среде то, что я делал, обрело и смысл, и значение.

Возникали и множились детали. Скоро я понял, что в море, омывающем западное побережье Файандленда, есть острова, огромный архипелаг маленьких независимых государств. Для горожан Джетры и, в частности, для моего героя они символизировали порыв, уход от будничной реальности. Уехать на эти острова значило достигнуть некоей цели. Я понял это не сразу, а постепенно, в процессе работы над рукописью.

Как изображение на проявляемой фотографии, на этом фоне возникла и обрела четкость та история моей жизни, которую мне хотелось рассказать. Мой герой получил мое собственное имя, однако все люди, которых я знал, зажили по поддельным документам. Свою сестру Фелисити я окрестил Каля, Грация стала Сери, а мои родители вообще ушли в тень.

Так как все это было для меня вчуже и внове, мое воображение живо откликалось на то, что я писал, но так как в некоем ином смысле все это было мне близко знакомо, мир другого Питера Синклера был легко для меня узнаваем и я мог в нем поселиться.

Я работал регулярно и с маниакальным усердием, а потому страницы новой рукописи быстро множились в числе. Каждый вечер я заканчивал работу точно во время, предписанное моим распорядком дня, после чего заново пробегался по свеженапечатанному тексту, внося в него поправки, по преимуществу мелкие. А потом, если оставалось время, я просто сидел с рукописью на коленях, ощущая ее вес и зная, что это – все в моей жизни, что стоит рассказа или может быть рассказано.

Это «все» – отдельный персонаж, идентичный мне, однако находящийся вне меня и неподвижный, неизменный. В отличие от меня он не будет стареть и не подвержен уничтожению. Этот персонаж обладает жизнью, превосходящей бумагу, на которой он напечатан; если я потеряю его или сожгу, он пребудет в некоей высшей плоскости. Чистая истина не стареет, он переживет меня.

Этот, конечный, вариант разительно отличался от первых неуверенных страниц, написанных мной в начале лета. Он представлял собою зрелое, правдивое описание моей жизни. Не считая моего имени, все в нем было чистейшим вымыслом. Но с другой стороны, все в нем, до последней запятой, было правдой в самом высоком смысле, какой только можно вложить в это слово. Это было бесспорно и несомненно.

Я нашел себя, объяснил себя и – в некоем, очень личном смысле слова – *определил* себя.

Мало-помалу повествование стало подходить к концу. Этот конец не являлся больше проблемой. Работая, я чувствовал, как он обретает в моем мозгу форму, подобно тому как прежде обрело форму само повествование. Мне оставалось лишь зафиксировать его, напечатать на бумаге. Нет, я не знал в подробностях, каким будет этот конец, конкретным словам лишь предстояло появиться, что они и сделают в тот момент, когда нужно будет их написать. И с ними придут свобода, завершенность, право вернуться в мир.

И вдруг, когда до конца оставалось не больше десяти страниц, все безнадежно рухнуло.

4

Засуха в конце концов прекратилась, и всю последнюю неделю лил дождь. Ведущая к дому дорога превратилась в непролазную трясину; задолго до появления машины оттуда донеслись надрывный вой мотора и чавканье разбрасываемой колесами грязи. В ужасе от возможной помехи я уставился на последние напечатанные слова, словно боясь, что они куда-нибудь ускользнут, удерживая их взглядом.

Машина подъехала совсем близко и остановилась за живой оградой, вне поля моего зрения. Какое-то время я слышал негромкий рокот работающего на холостом ходу мотора и шарканье дворников по ветровому стеклу, затем эти звуки стихли, а еще через пару секунд хлопнула дверца машины.

– Эй! Питер, ты там или не там? – крикнул снаружи женский голос, голос моей драгоценной сестрицы.

Я продолжал смотреть на недопечатанную страницу и молчал в жалкой надежде обмануть ее этим молчанием, чтобы она подумала, что меня тут нет, и больше не возвращалась. Я ведь почти закончил свою рукопись. Мне не хотелось никого видеть.

– Питер,пусти меня скорее! Здесь же хлещет как из ведра!

Фелисити подошла и забарабанила по стеклу. В комнате стало заметно темнее; я раздраженно повернулся и увидел, что это она заслонила чуть не половину узкого окна.

– Да открой же ты дверь, я тут скоро до костей промокну.

– Что тебе нужно? – спросил я, глядя на все ту же страницу. Напечатанные на ней слова поблекли и затуманились, словно и вправду собирались исчезнуть.

– Я приехала тебя проведать, ты ведь не ответил ни на одно письмо. Слушай, да не сиди ты там, как пень, я же совсем промокла!

– Там не заперто, – сказал я и махнул рукой куда-то в направлении входа.

Через мгновение я услышал, как поворачивается дверная ручка, затем заскрипела дверь. Я встал на колени, собирая с пола аккуратно напечатанные страницы и торопливо складывая их в пачку. Мне не хотелось, чтобы написанное мною попало сестре, да и вообще кому бы то ни было. Я выхватил недопечатанный лист из машинки, присоединил его ко всем прочим и попытался разложить их по номерам, но мне помешала Фелисити.

– Там под дверью целая куча писем, – сказала она, появляясь в комнате. – Вот и пиши тебе и жди ответа. Ты что, вообще почти не смотришь?

– У меня не было времени, – сказал я, все еще пытаясь привести свою рукопись в порядок и остро жалея, что печатал ее в одном экземпляре, иначе можно было бы спрятать второй экземпляр в какое-нибудь тайное место, для сохранности.

– Питер, я должна была приехать, – сказала Фелисити. Она буквально зависла надо мной, все еще ползавшим на коленях. – Ты очень странно разговаривал по телефону, и мы с Джеймсом стали опасаться, что с тобою что-то неладно. Ни на одно из моих писем ты не ответил, и в конце концов я позвонила Эдвину. А чем это ты тут занимаешься?

– Отстань от меня, – пробормотал я, не поднимая головы. – Ты же видишь, что я занят, а ты мне мешаешь.

Семьдесят вторая страница рукописи как сквозь землю провалилась, я начал ее искать и потерял несколько других.

– Господи, ну и бардак же ты здесь устроил!

Впервые после неожиданного появления сестры я взглянул на нее прямо. Я ее узнавал, но узнавал несколько странным образом, как существо, лично мною сотворенное. Я помнил ее не столько по жизни, сколько по своей рукописи – моя сестра Каля, двумя годами старше меня, замужем за человеком по фамилии Яллоу.

– Фелисити, ну что тебе надо?

– Я беспокоилась за тебя, и правильно делала, что беспокоилась. В эту комнату вообще страшно войти! Ты хоть когда-нибудь ее прибираешь?

Я встал, сжимая в руке собранные с полу листки. Фелисити развернулась и ушла на кухню, оставив меня в размышлении, куда бы их спрятать до ее отъезда. Она уже видела рукопись, но все равно не имеет ни малейшего представления, что я там пишу и насколько это важно.

До меня донесся стук и звон посуды, а затем нечто вроде сдавленной ругани. Я дошел до кухни и встал в дверях, наблюдая, как Фелисити освобождает раковину от грязной посуды.

– Вот посмотрел бы Эдвин, а еще лучше Мардж, что здесь творится! Ты никогда не умел следить за собой, но это переходит всякие рамки. Здесь же вонь невозможная! – сказала она, распахивая окно; кухню заполнил монотонный шорох дождя.

– Хочешь, я кофе сварю? – спросил я, по возможности галантно, чем заслужил от Фелисити испепеляющий взгляд.

Она вымыла руки под краном, оглянулась по сторонам, тщетно пытаясь обнаружить полотенце, и в конце концов вытерла их о свой плащ. А и правда, куда ж это оно подевалось?

Фелисити с Джеймсом жили в близком пригороде Шеффилда, который совсем еще недавно представлял собой пахотное поле. Теперь это был поселок из тридцати шести современных, абсолютно одинаковых коттеджей, расставленных вдоль круговой, словно циркулем прочерченной аллеи. Я не то чтобы часто, но заезжал к ним, однажды даже на пару с Грацией, и у меня была целая глава, посвященная уикенду, который я провел у них вскоре после рождения их первого ребенка. Я хотел было показать эту главу сестрице, но потом подумал, что вряд ли ей понравится, и только крепче прижал свою рукопись к груди.

– Питер, да что с тобой творится? Одежда грязная, в доме свинарник, по лицу можно подумать, что ты забыл, что такое нормальный обед. И что с твоими пальцами!

– А что с моими пальцами?

– Раньше ты не грыз ногти.

– Отцепись, Фелисити, – выплюнул я, смущенно отворачиваясь. – У меня большая работа, и я хочу ее закончить.

– Отцепись? Ну и что тогда будет? После папиной смерти мне пришлось одной приводить в порядок все его дела, пришлось подтирать тебе нос во время всех этих юридических заморочек, о которых ты и знать ничего не хотел, а ведь у меня есть еще и свой дом и своя семья, и ими тоже должен кто-то заниматься. А ты пальцем о палец не захотел ударить! И что ты скажешь насчет Грации?

– А что насчет Грации?

– Мне и о ней пришлось беспокоиться.

– О Грации? Ты что, ее видела?

– Когда ты бросил Грацию и исчез, она связалась со мной. Хотела узнать, куда ты делся.

– Но я же ей написал, а она так и не ответила.

Фелисити промолчала, но глаза ее пылали гневом.

– Так как там Грация? – поинтересовался я. – Где она теперь живет?

– Ты эгоистичный ублюдок! Ты же прекрасно знаешь, что она чуть не умерла!

– Ничего я такого не знаю.

– От передозировки. Ты должен был это знать!

– А-а, – протянул я, – ну да. Ее соседка по квартире что-то такое говорила.

Теперь я вспомнил побелевшие губы и трясущиеся руки этой девушки, когда она говорила, чтобы я отстал от Грации.

– Ты же знаешь, что у Грации нет никого на свете. Мне пришлось взять неделю отпуска и примчаться в Лондон, и все по твоей милости.

– А почему ты мне ничего не сказала? Я же ее искал.

– Питер, да не ври ты хотя бы самому себе! Ты же попросту смылся.

Продолжая думать о своей рукописи, я вдруг вспомнил, что случилось с семьдесят второй страницей. Просто я ошибся в нумерации, а потом хотел исправить ошибку, но так и не собрался. Так что ничего там не пропало, у меня просто камень с сердца свалился.

– Ты меня слушаешь или не слушаешь?

– Да слушаю, слушаю.

Фелисити бесцеремонно протолкалась мимо меня и прошла в мою белую комнату. Она распахнула настежь оба окна и тут же направилась наверх, шумно топоча по деревянным ступенькам. Я последовал за ней, зябко поеживаясь от загулявшего в комнате сквозняка; происходившее нравилось мне все меньше и меньше.

– Насколько я знаю, ты обещал заняться ремонтом, – сказала Фелисити. – И так ничего и не сделал. Эдвин будет в экстазе. Он-то в простоте своей думает, что работа если и не закончена, то хотя бы близка к тому.

– Ну и пускай себе, – сказал я, пожимая плечами, и торопливо прикрыл дверь в комнату, где лежал мой спальник. Кроме того, там везде были разбросаны мои журналы, и я не хотел, чтобы сестра их видела, а потому прислонился к двери спиной и сказал: – Уходи отсюда, Фелисити. Уходи, уходи.

– Господи, а здесь-то у тебя что делается? – Она распахнула дверь в уборную и тут же ее захлопнула.

– Засорилось, – объяснил я. – Я думал прочистить, но все никак не соберусь.

– Ты живешь как свинья, хуже свиньи.

– А какая разница? Все равно здесь никого больше нет.

– Покажи мне остальные комнаты.

Фелисити подошла ко мне вплотную и сделала вид, что хочет отнять у меня рукопись. Я поддался на эту уловку и еще крепче прижал драгоценные бумаги к груди, а Фелисити схватилась за дверную ручку и распахнула дверь, чего мне очень и очень не хотелось.

Секунд пять или десять она смотрела через мое плечо в комнату, а затем перевела полный презрения взгляд на меня и сказала:

– Открыл бы хоть окно, тут же воняет, как я не знаю что.

А потом круто повернулась и пошла проверять другие комнаты.

Я зашел в свою спальню и постарался убрать там все то, что ей особенно не понравилось, – позакрывал раскрытые журналы и виновато засунул их под спальник, а всю грязную одежду сгреб в один угол и сложил в кучу, чтобы поменьше бросалась в глаза.

А тем временем Фелисити была уже внизу, в моей белой комнате, она стояла рядом с письменным столом и что-то на нем рассматривала, а когда в комнату вошел я, цепко взглянула на мою рукопись.

– Ты не мог бы показать мне эти бумаги?

Я еще крепче прижал рукопись к груди и помотал головой.

– Да не цепляйся ты так за них, никто у тебя силой отбирать не будет.

– Я не могу показать тебе, никак не могу. Слушай, Фелисити, уезжала бы ты отсюда, оставила бы меня в покое.

– Ладно, не дергайся. – Она взяла стоявший у письменного стола стул и поместила его посреди комнаты, отчего та сразу стала выглядеть какой-то перекошенной. – Посиди тут немного, Питер. Мне нужно подумать.

– Я не понимаю, какие у тебя могут быть здесь дела. Со мною все в порядке, в полном порядке. Мне только и нужно, что побыть одному. Я работаю.

Но Фелисити уже не слушала; она прошла на кухню и стала наливать в чайник воду. Я сидел на стуле, прижимая рукопись к груди, и смотрел через раскрытую кухонную дверь, как она моет под краном две чашки, а потом шарит по полкам в поисках, видимо, чая. Потерпев неудачу, она раскрыла банку растворимого кофе и насыпала по ложке в каждую из вымытых чашек. В ожидании, пока закипит на конфорке чайник, она взглянула на грязную посуду и начала наполнять раковину, время от времени пробуя льющуюся из крана воду пальцем.

— Здесь что, нет горячей воды?

— Почему нет... она же горячая. — Я видел, как над льющейся в раковину водой поднимается пар.

— Эдвин сказал, что здесь установили бойлер, — сказала Фелисити, закрывая кран. — Где он?

Я равнодушно пожал плечами. Фелисити нашла выключатель, включила бойлер, а затем снова встала к раковине и опустила голову; время от времени ее спина вздрагивала, как от озноба.

Я никогда еще не видел сестру такой, к тому же мы с ней остались один на один впервые за многие годы. Сколько помнится, в последний раз это было во время моих университетских каникул, когда мы оба жили дома, и она как раз только что обручилась. Потом с нею всегда был Джеймс или и Джеймс и дети. Сегодняшний контакт дал мне новое понимание ее характера, а ведь сколько я намучился с персонажем моей рукописи по имени Каля. Сцены из детства, в которых участвовала она, были в числе труднейших, требовавших особой изобретательности.

Фелисити стояла и ждала, пока закипит чайник, а я беззвучно пытался ее загипнотизировать, понудить, чтобы она оставила меня в покое, уехала. Вызванный ею сбой еще больше обострил мою потребность писать. Не исключено, что именно в этом и состоял непреднамеренный смысл ее появления: нарушить мое спокойствие, дабы помочь мне. Я мысленно побуждал ее уехать, чтобы я мог завершить работу. Передо мной даже маячила смутная возможность нового варианта, варианта, где я продолжу свои поиски правды, еще дальше уходя в безбрежное царство фантазии.

Фелисити смотрела в окно, на дождем поливаемый сад, и мало-помалу напряжение на кухне разрядилось. Успокоенный, я положил рукопись на пол, к своим ногам. А потом она повернулась, взглянула на меня и сказала:

— Питер, я думаю, тебе необходима помощь. Ты согласен пожить какое-то время у нас с Джеймсом?

— Я не могу. Мне нужно работать, нужно закончить то, что я делаю.

— А что ты делаешь? — Она так и смотрела прямо на меня, привалившись спиной к подоконнику.

Мне нужно было что-то ответить, но всего сказать я не мог.

— Я рассказываю правду о себе.

В глазах Фелисити промелькнула знакомая искра, и я заранее понял, что сейчас будет сказано.

Четвертая глава недописанной рукописи: моя сестра Каля, двумя годами старше меня. Мы были достаточно близки по возрасту, чтобы родители относились к нам почти как к ровесникам, но достаточно далеки, чтобы разница ощущалась. Она всегда была чуть-чуть впереди меня — раньше пошла в школу, могла позднее ложиться спать, раньше начала ходить на вечеринки. И все-таки мне удалось ее догнать, потому что я был в школе сообразительный, а она только хорошенькая, и она не могла мне этого простить. По мере того как мы из подростков становились людьми, разлом между нами становился все очевиднее. Мы и в мыслях не имели что-нибудь с этим сделать, а только держались в безопасном друг от друга отдалении, позволяя разлому углубляться и шириться. Она вечно изображала, будто заранее

знает, что я сделаю или подумаю. Про все говорилось, что иначе оно и быть не могло, я ничем никогда не мог удивить ее, либо потому, что был в ее глазах абсолютно предсказуем, либо потому, что ситуация, новая для меня, отнюдь не была новой для нее. Я рос в ненависти к ее понимающей улыбке и многоопытным смешкам, к тому, как она старалась навечно оставить меня в двух годах за собой. Признаваясь Фелисити, о чем моя рукопись, я ожидал снова увидеть ту самую улыбку, снова услышать пренебрежительное шелканье языком. Я ошибся. Фелисити только кивнула и отвела глаза.

– Я обязана, – сказала она, – забрать тебя отсюда. Неужели тебе так уж совсем негде устроиться в Лондоне?

– Со мною, Фелисити, все в порядке, так что ты не тревожься.

– А что ты думаешь о Грации?

– А что я должен о ней думать?

По Фелисити было видно, что мой ответ ее возмутил.

– Я, – сказала она, – бессильна тут что-нибудь сделать. А вот ты должен с ней пови-
даться. Ты ей нужен, у нее нет никого другого.

– Но она же меня бросила.

Глава седьмая моей рукописи и несколько следующих: там, в моей рукописи, Грация – это Сери, девушка на острове. Я встретился с Грацией на греческом острове Кос, как-то летом. Я отправился в Грецию, пытаюсь понять, почему она представляет для меня некую смутную угрозу. Греция казалась мне местом, куда люди приезжают и тут же влюбляются. Это было место, бросающее сексуальный вызов. Друзья возвращались из экскурсионных туров очарованными, Греция являлась им во сне. В конце концов я откликнулся на этот вызов, поехал и встретил Грацию. Какое-то время мы путешествовали по Эгейским островам, спали вместе, а затем вернулись в Лондон и долго друг другу не звонили. Так прошло несколько месяцев, а потом мы встретились, совершенно случайно, как то бывает в Лондоне. И я, и она были околдованы островами, все время слышали их дальний зов. В Лондоне мы влюбились друг в друга, и мало-помалу зов островов умолк. Мы стали совсем обычными. Теперь она превратилась в Сери и под конец рукописи останется в Джетре одна. Джетра была Лондоном, острова были у нас позади, но Грация приняла слишком много снотворных таблеток, и мы с ней порвали. Все это было в моей рукописи, приведенное к высшей правде. Я устал.

Чайник закипел, и Фелисити пошла заваривать кофе. Сахара не было, молока не было, да еще и сидеть было негде. Я подвинул рукопись в сторону и отдал сестре стул. Несколько минут она ничего не говорила, а только держала в руках чашку и иногда из нее отхлебывала.

– Я не могу все время кататься туда-обратно, чтобы не потерять тебя из виду, – сказала она потом.

– А никто тебя и не просит. Я уж как-нибудь сам о себе позабочусь.

– Интересно же ты это делаешь – ни крошки еды, клозет забит, грязь, как в свинарнике.

– Мне нужны совсем другие вещи, чем тебе. – (Она ничего не ответила, а только оглянулась на мою белую комнату.) – А что ты скажешь Эдвину и Мардж? – спросил я с некоторой опаской.

– Ничего.

– Мне и их здесь не хочется видеть.

– Но это, Питер, их дом.

– Я приведу его в порядок. Я все время этим занимаюсь.

– Ты здесь так ни к чему и не притронулся. Даже странно, как ты в этом кошмаре не подхватил дифтерию или что-нибудь вроде. И как ты жил при недавней жаре? Можно ручаться, что вонь здесь стояла оглушительная.

– Я ничего не замечал. Я работал.

– Работал так работал. Послушай, а откуда ты мне звонил? Здесь что, есть телефонная будка?

– А зачем тебе это знать?

– Я позвоню Джеймсу. Я хочу рассказать ему, что здесь происходит.

– Ничего здесь не происходит, *ничего!* Мне только нужно, чтобы меня оставили в покое, пока я не закончу то, что делаю.

– А потом ты приведешь в порядок дом и расчистишь сад?

– Я не то чтобы все время, но урывками занимался этим все лето.

– Ничего ты подобного, Питер, не делал, да ты и сам это знаешь. Здесь же и конь не валялся. Эдвин сказал мне, о чем вы с ним договаривались. Он надеялся, что ты наведешь в доме порядок, а в результате здесь сейчас хуже, чем перед твоим приездом.

– Да? – возмутился я. – А что ты скажешь об этой комнате?

– Это самое грязное, запущенное место, какое тут только есть!

Я был уязвлен в самое сердце. Моя белая комната, средоточие всей моей жизни в этом доме! Комната, преобразившаяся в точном соответствии с моим замыслом, а потому ставшая основой всего, что я делаю. Ослепительная белизна свежеевыкрашенных стен, упоительная шершавость тростниковых циновок под моими босыми ступнями, не успевший еще выветриться запах краски, который был особенно замечен по утрам, когда я спускался сюда из спальни. Белая комната неизменно давала мне новый заряд бодрости, она была заветным островком рассудка и здравости в моей безнадежно взбаламученной жизни. Теперь же Фелисити поставила все это под сомнение. Если взглянуть на комнату под тем углом, под каким, по всей видимости, взглянула она, то... в общем-то, да, я так и не собрался ее побелить. Половицы так и остались голыми и грязными, растрескавшаяся штукатурка сыпалась кусками, оконные рамы обильно поросли плесенью.

Но во всем этом была ее вина, не моя. Она все воспринимала неправильно. Созерцая свою белую комнату, я постиг, как следует создавать рукопись. Фелисити не умеет смотреть, ей доступна лишь зашоренная узость фактологической правды. Она не восприимчива к высшей истине, к стройной архитектонике вымысла и, уж конечно, не сможет понять истины класса и уровня тех, что содержатся в моей рукописи.

– Так где же здесь телефонная будка? В поселке?

– Да. А что ты скажешь Джеймсу?

– Я просто хочу сообщить ему, что добралась сюда в целости и сохранности. Эти выходные за детьми присматривает он – если, конечно, тебе это интересно.

– А сейчас что, выходные?

– Сегодня суббота. Ты что, и правда этого не знаешь?

– Я как-то не интересовался.

Фелисити допила кофе и отнесла чашку на кухню. Затем она взяла свою сумочку и прошла через мою белую комнату к наружной двери. Я услышал, как дверь открывается, однако Фелисити тут же вернулась.

– Я соображу чего-нибудь поесть. Чего бы ты хотел?

– Не знаю, думай сама.

Как только дверь за Фелисити закрылась, я поднял рукопись с пола и нашел страницу, закончить которую она мне помешала. Собственно говоря, там было напечатано всего две с половиной строчки, и белое пространство под ними зияло на меня укоризной. Я прочитал эти строчки, но не уловил их смысла. В процессе работы я осваивался с машинкой все лучше и лучше и теперь уже мог печатать почти с той же скоростью, с какой думал. Поэтому мой стиль был спонтанным и ничем не скованным, полностью зависел от моего сиюминутного настроения. Мало удивительного, что за время, пока Фелисити хозяйничала в доме, я потерял ход своей мысли.

Я прочитал две или три предыдущие страницы и сразу почувствовал себя более уверенно. Писательство сходно с нарезанием дорожки на граммофонной пластинке: мои мысли были зафиксированы на бумаге, и перечитать эти страницы было все равно, что проиграть пластинку и снова услышать свои мысли. Уже после нескольких абзацев я полностью вошел в ритм повествования.

Фелисити и ее неожиданное вторжение были забыты, исчезли. Это было все равно, как снова найти свое истинное «я». С головой погрузившись в работу, я словно заново обрел свою целостность; в присутствии сестры, разговаривая с ней, я чувствовал себя ущербным, иррациональным, неуравновешенным.

Я отложил недопечатанную страницу в сторону, вставил в машинку чистый лист, быстро перепечатал те две с половиной строчки и собрался продолжать.

Однако продолжения не получилось, конец фразы снова повис в воздухе: «На мгновение место показалось мне знакомым, но когда я оглянулся...»

Когда я оглянулся на что?

Я еще раз перечитал предыдущую страницу, стараясь вслушиваться в свои мысли. Описываемая сцена была воссозданием моей заключительной ссоры с Грацией, однако при посредстве Сери и Джетры она обрела отстраненный характер. Теперь же все эти сдвиги реальности на время сбили меня с толку. В рукописи сцена имела характер даже и не спора, а скорее безысходного противоречия между тем, как два человека интерпретируют мир. Так что же я пытался сказать?

Я вспомнил реальную ссору. Мы стояли на углу Мэрилебон-роуд и Бейкер-стрит. Накрапывал дождь. Ссора вспыхнула буквально на пустом месте, вроде бы из мелкого разногласия, сходить ли нам в кино или провести этот вечер в моей квартире, но в действительности напряжение нарастало уже несколько дней. Я замерз, я злился, я обращал ненормально большое внимание на шум машин, раз за разом срывавшихся с места на зеленый свет. Паб у станции метро уже открылся, но чтобы туда попасть, нужно было пересечь улицу по подземному переходу, а Грация страдала клаустрофобией. Шел дождь, мы начали кричать друг на друга. Я оставил ее на этом углу и больше никогда не увидел.

Так что же я думал делать с этой сценой? И ведь раньше, до появления Фелисити, я это знал; все в моем тексте свидетельствовало о его продуманном, заранее выстроенном характере.

Появление Фелисити было вдвойне неприятным, она не только сбила меня на полужае, но и заставила еще раз задуматься о постижении истины.

К примеру, она принесла новые сведения о Грации. Ну да, я, конечно же, знал, что Грация после ссоры перебрала снотворного, но это не было чем-то таким особо важным. За время нашего знакомства был уже случай, когда Грация после ссоры немного перебрала, но позднее она и сама говорила, что просто хотела привлечь к себе побольше внимания. Ну а в последний раз ее напарница по квартире не только не пустила меня дальше порога и облаяла почем зря, но еще и снизила, преуменьшила значение случившегося, скорее всего – ненамеренно. В бурном порыве антипатии, даже презрения ко мне она подала горькую информацию как нечто малозначительное, о чем я не должен беспокоиться; я же принял ее слова за чистую монету. А вполне ведь возможно, что Грация как раз лежала в больнице. Если верить Фелисити, ее тогда едва откачали.

Но правда, высшая правда состояла в том, что я намеренно увильнул от понимания фактов. Я не хотел их знать. А Фелисити меня заставила. То, что сделала Грация, было вполне серьезной попыткой самоубийства.

Я мог описать в своей рукописи Грацию, которая стремилась привлечь к себе внимание, но я не знал Грации, способной всерьез покуситься на свою жизнь.

А если Фелисити раскрыла мне глаза на черты в характере Грации, никогда мною прежде не замечавшиеся, не значит ли это, что я могу точно так же заблуждаться относительно многого другого? Я хочу рассказать правду, но так ли уж много я ее вижу?

Не так-то было все просто и с источником сведений, с самой Фелисити. Она занимала в моей жизни немаловажное место. Сегодня она по своему всегдашнему обычаю представила себя особой зрелой, умудренной, здравомыслящей, обладающей большим, чем у меня, жизненным опытом. Со времени, когда мы вместе с ней играли, она всегда старалась главенствовать надо мной, будь это в силу столь временного преимущества, как несколько больший рост или многознание, наигранное или настоящее, чуть более взрослой, более опытной личности. Фелисити постоянно претендовала на высшее по отношению ко мне положение. В то время как я оставался холостым и снимал квартиру за неимением собственной, у нее были и дом, и семья, и буржуазная респектабельность. Ее образ жизни был мне чужд, однако она ничуть не сомневалась, что я мечтаю о таком же, а так как все еще его не достиг, она имеет законное право относиться ко мне критически и высокомерно.

Вот и сегодня Фелисити вела себя в том же, давно мне опостылевшем ключе: заботливо и неодобрительно, проявляя полное непонимание не только меня, но и того, что я пытаюсь сделать со своей жизнью.

Вся эта ее жалкая фанаберия была здесь, в главе четвертой, занесенная на бумагу и тем, как мне думалось, надежно отринутая. Но Фелисити снова все испортила, и конец моей рукописи так и повис недописанным.

Она поставила под вопрос все, что я пытался сделать, неумолимым свидетельством чего были последние напечатанные мною слова. С еле начатой страницы на меня глядела незавершенная фраза: «...но когда я оглянулся...»

Но – что? Я напечатал «Сери так и стояла на том же месте» и тут же схватился за карандаш, которым вычеркивал неудачные пассажи. Это были совсем не те слова, какие мне требовались, пусть даже, словно в насмешку надо мной, именно их я прежде собирался напечатать. Теперь их мотивация безнадежно погибла, исчезла.

Я взял рукопись со стола и взвесил ее в руке. Приятная солидная пачка, свыше двухсот страниц машинописного текста, неоспоримое доказательство моего существования.

Неоспоримое? Но теперь на все, что я сделал, брошена тень сомнения. Я стремился к истине, но Фелисити заставила меня вспомнить, насколько призрачно это понятие. Одним уже тем, что не смогла увидеть мою белую комнату.

Ну а что, если кто-нибудь *не поверит* моей истине?

Фелисити уж точно не поверит, если я ни с того ни с сего покажу ей свою рукопись. А судя по тому, что она рассказала, скорее всего, и Грация помнит эти события совершенно иначе. А будь еще живы мои родители, их бы несомненно шокировало многое из того, что я рассказал о своем детстве.

Истина субъективна, но разве я утверждаю обратное? Эта рукопись есть не что иное как честный рассказ о моей жизни. Я нисколько не претендую на какую-нибудь оригинальность или многозначимость этой жизни. Для всех, кроме меня самого, в ней не было ничего необычного. Рукопись – это все, что я знаю о себе, все, что есть у меня в этом мире. Нет смысла спорить с нею и не соглашаться, потому что все описанные в ней события описаны так, как вижу их я и никто другой.

Я еще раз перечитал последнюю законченную страницу плюс все те же две с половиной строчки. Передо мной начинало смутно вырисовываться, что будет дальше. Грация в обличье Сери стояла на углу потому, что...

Наружная дверь гроыхнула, словно ее не открыли за ручку, а вышибли ударом плеча; секунду спустя в комнату ввалилась Фелисити в обнимку с двумя большими, насквозь промокшими бумажными пакетами.

– Я приготовлю обед, но потом ты сразу собирайся. Джеймс говорит, что лучше бы мы вернулись в Шеффилд прямо сегодня.

Вот и говори, что снаряд никогда не попадает в воронку от предыдущего; каким-то чудом Фелисити умудрилась дважды прервать меня на одном и том же месте.

Медленно и неохотно я вытащил из машинки лист, точно такой же, как в предыдущий раз, и положил его в самый низ рукописи.

Тем временем Фелисити суежилась на кухне. Повязав купленный в поселке передник, она перемыла грязную посуду и поставила жариться отбивные.

Пока мы ели, я молчал, словно это могло отгородить меня от драгоценной сестрицы со всеми ее планами, заботами и соображениями. Ее нормальность вторгалась в мою жизнь мутным потоком безумия, бреда.

Меня отмоют, накормят и оздоровят. Причиной всему стала смерть отца. Я сорвался. Не то чтобы слишком, по мнению Фелисити, но все же сорвался. Я утратил способность следить за собой, и поэтому этим займется она. Я увижу на ее примере, чего себя лишаю. По выходным мы будем устраивать набеги на Эдвинов коттедж (мы – это и я, и она, и Джеймс, и даже дети), будем орудовать швабрами и кистями, и мы с Джеймсом расчистим заросший сад, и буквально в считанные недели мы сделаем этот дом не только пригодным для жизни, но даже уютным, а затем пригласим Эдвина и Мардж приехать и полюбоваться. Когда я заметно оправлюсь, мы съездим в Лондон в том же составе, но, скорее всего, без детей, и мы навестим Грацию, и нас с ней оставят одних, чтобы мы сделали то, что нам нужно сделать, и мне не позволят сорваться вторично. Раз в два месяца я буду заезжать к ним в Шеффилд, и мы будем устраивать долгие прогулки по вересковым пустошам, а потом, вполне возможно, я даже съезжу за границу. Мне ведь понравилось в Греции, верно? Джеймс подыщет мне работу в Шеффилде – или в Лондоне, если уж мне так этого хочется, – и мы с Грацией будем счастливы, и поженимся, и у нас будут...

– Так о чем ты там говорила? – спросил я.

– Так ты слушал меня или не слушал?

– Смотри, а дождь-то совсем кончился.

– Ох, господи. С тобой просто невозможно.

Фелисити закурила сигарету. Я представлял себе, как табачный дым разносится по моей белой комнате и грязной желтизной оседает на свежестены стены. Он просочится и в мою рукопись, выжелтит ее листы вечным напоминанием о внезапном, как катастрофа, появлении Фелисити.

Рукопись была подобна незавершенной музыкальной пьесе, факт незавершенности был даже важнее ее существования. Подобно доминантному септаккорду, она искала разрешения, финальной тонической гармонии.

Фелисити начала убирать со стола, складывая тарелки в кухонную раковину, я же, воспользовавшись моментом, взял свою рукопись и направился к лестнице.

– Ты пошел собираться?

– Нет, – сказал я, – я не поеду с тобой. Мне нужно закончить то, что я делаю.

Фелисити оставила посуду и вернулась в комнату. На ее руках висела пена от фирменного детергента.

– Питер, здесь уже не о чем спорить. Ты едешь со мной.

– У меня работа, я должен ее закончить.

– Да что же ты там такое пишешь?

– Я уже раз тебе говорил.

– Ну-ка дай посмотреть.

Фелисити требовательно протянула мокрую, сплошь в ошметках пены, руку, заставив меня еще крепче обнять свою рукопись.

– Этого никто никогда не увидит.

На этот раз сестрица отреагировала точно так, как я и ожидал: презрительно прищелкнула языком и резким движением вскинула голову. Что бы я там ни делал, все это ерунда, не стоящая даже обсуждения.

Я сидел на скомканном спальнике, прижимал к себе рукопись и чуть не плакал. Снизу доносились крики Фелисити: она обнаружила мои пустые бутылки и теперь в чем-то там меня обвиняла.

Никто и никогда не прочитает мою рукопись, ведь это самая личная в мире вещь, квинт-эссенция меня. Я написал повесть, прикладывая массу усилий, чтобы сделать ее достойной чтения, но вся моя намеченная читательская аудитория состояла из одного лишь меня самого.

В конце концов я спустился вниз и увидел, что Фелисити аккуратно, ровными рядами, выстроила пустые бутылки прямо перед лестницей. Бутылок было так много, что я с трудом через них перешагнул. Фелисити меня ждала.

– Что это такое? – спросил я. – Зачем ты их сюда притащила?

– Нельзя же оставить их валяться в саду. Что ты тут делал, Питер? Пил не просыхая? Ведь так и до белой горячки недалеко.

– Я живу здесь уже много месяцев.

– Нужно попросить кого-нибудь, чтобы эту пакость забрали. В следующий приезд мы так и сделаем.

– В следующий приезд? – переспросил я. – Я пока что никуда не уезжаю.

– У нас есть свободная комната. Дети дома считай что только ночуют, и я тоже оставляю тебя в покое.

– Странно, ведь прежде ты никогда этого не умела. С чего бы вдруг сейчас?

Но Фелисити уже перетаскала часть моих вещей в машину, а теперь закрывала окна, закручивала потуже краны, отключала электричество. Я наблюдал за всем этим молча, прижимая рукопись к груди. Теперь она испорчена навсегда, безвозвратно. Слова останутся ненаписанными, мысли незаконченными. Я различал никому не слышную музыку: доминантная септима отзвучала в вечном поиске каденции. Затем она стихла, как доигравшая пластинка, и музыка сменилась бессмысленным потрескиванием. Скоро иголка в моем мозгу дойдет до последней центральной дорожки, застрянет там на неопределенно долгое время и будет многозначительно отщелкивать темного смысла ритм, тридцать три раза в минуту. В конце концов кому-нибудь придется поднять звукосниматель, и тогда наступит тишина.

5

Неожиданно корабль вырвался из тени на солнце, и это было словно я резко порвал со всем, что осталось позади.

Я прищурился, вглядываясь в ослепительно-синее небо, и увидел, что облако явным, пусть и непонятным образом связано с землей, потому что оно тянулось точно по направлению восток – запад. Впереди прозрачная голубизна манила обещанием теплой, тихой погоды. Мы направлялись прямо на юг, словно подгоняемые холодным ветром, дующим в корму.

Мое восприятие расширилось, оно раскинулось вокруг меня подобно вбирающей ощущения сети нервных клеток. Я воспринимал и сознавал. Я раскрылся.

В воздухе мешались запахи солярки, соли и рыбы. Хотя я и был отчасти защищен корабельными надстройками, холодный ветер продувал меня насквозь; моя городская одежда казалась жалкой и никуда не годной. Я дышал всей грудью, задерживая воздух в легких на несколько секунд, словно в нем содержались некие целительные эманации, которые должны были промыть мой организм, освежить мой мозг, обновить меня и наново вдохновить. Палуба под ногами мелко вибрировала от работающих где-то внизу двигателей. Волны мягко раскачивали корабль с носа на корму и обратно, и мое тело двигалось в дружном соответствии с этим ритмом.

Я прошел вперед, на самый нос, и там повернулся назад и взглянул на то, что было позади.

Единственными людьми в поле моего зрения были другие, вроде меня, пассажиры, вылезшие погулять на верхнюю палубу. Яркие ветровки, пластиковые дождевики. Много пожилых супружеских пар, а вернее – пожилых людей, державшихся парочками, он и она. И все эти люди не смотрели, как мне показалось, ни вперед, ни назад, а словно внутрь самих себя. А дальше, за надстройками и трубой, я увидел больших, безмянных по причине моего невежества морских птиц, плавно и словно совсем без усилий уносившихся к оставленному нами берегу. После выхода из гавани корабль слегка отвернул в сторону, и потому мне была видна значительная часть Джетры. Город расползся вдоль берега, прячась за портовыми кранами и складами, без остатка заполняя широкую речную долину. Я попытался представить себе, как продолжится его жизнь, когда не будет рядом меня, за ним наблюдающего, словно опасаясь, что в мое отсутствие все может исчезнуть. Джетра уже становилась абстрактной идеей.

А впереди громоздился Сивл, ближайший к Джетре из островов Архипелага Грёз, бывший, однако, недоступным для всех джетрианцев, кроме немногих, у кого там имелись близкие родственники. Впрочем, точно так же были закрыты для нас и все остальные острова, входившие в Союз Архипелага; война все еще продолжалась, и территории, не принимавшие в ней участия, очень дорожили своим нейтралитетом. Мало удивительного, что я тоже никогда не бывал на Сивле и воспринимал его просто как некий элемент пейзажа, темную громаду, встававшую из моря прямо к югу от Джетры.

А теперь этот остров был первым пунктом стоянки на нашем маршруте, и мне очень хотелось, чтобы корабль шел побыстрее, ведь пока за кормою маячила Джетра, мне продолжало казаться, что путешествие все еще не началось. К сожалению, речная дельта изобиловала мелями, и кораблю приходилось двигаться осторожно, часто меняя свой курс; медленно, очень медленно он приближался к Рваному Носу – иззубренному каменному массиву на западной оконечности Сивла, обогнув который мы должны были вступить в царство неведомого.

Я расшагивал по палубе, тихо ярясь на черепаший темп путешествия, на пронизывающе холодный ветер и на малоудачных компаньонов. Не знаю уж почему, но, вступая на борт корабля, я думал оказаться в обществе людей более-менее молодых и был весьма удручен, обнаружив, что едва ли не все пассажиры либо уже перешагнули пенсионный рубеж, либо вот-вот перешагнут. А неестественная самоуглубленность этих господ объяснялась тем, что они направлялись в свои новые дома; одним из немногих легальных методов переселения на Архипелаг была покупка квартиры или дома на одном из дюжины, что ли, островов, где не было на этот счет никаких запретов.

В конце концов мы все же обогнули Нос и вошли в бухту, на берегу которой стоял Сивл-Таун; Джетра исчезла из виду.

Я сгорал от нетерпения увидеть первый в моей жизни островной городок и, возможно, составить по нему представление, как могут выглядеть другие городки на других островах, однако Сивл-Таун сильно меня разочаровал. Серые, дикого камня дома, стоявшие неровными уступами на склонах стиснувших бухту гор, смотрелись уныло и неухоженно. Было очень легко представить себе, как выглядит это место зимой, когда все двери и ставни закрыты, по крышам и улицам лупит дождь, дующий с моря ветер едва не сбивает людей с ног и нигде ни огонька. Я крайне сомневался, есть ли на Сивле электричество, или водопровод, или автомобили. Ни на одной из узких улочек, выходивших к гавани, не было и признаков уличного движения, зато были вполне приличные каменные мостовые. В целом Сивл-Таун напоминал некоторые из глухих горных деревушек на севере Файандленда, единственной видимой разницей был дым, струившийся здесь из большинства печных труб; я никак не ожидал увидеть ничего подобного, потому что в Джетре, как и на всей остальной территории Файандленда, к экологии относились более чем трепетно.

Никто из пассажиров не собирался сходить в Сивл-Тауне, и наше прибытие было встречено городом совершенно равнодушно. Мы причалили, сбросили трап и начали ждать; прошло несколько минут, и на борт к нам поднялись два человека в форме. Это были архипелагские таможенники – факт, ставший ясным, когда всех нас попросили собраться на палубе номер один. Поглядев на пассажиров, я лишний раз убедился, что почти все они – люди весьма пожилые. До Мьюриси, куда я направлялся, было девять дней хода, и вот сейчас, стоя в очереди на паспортный контроль, я терзал себя мыслью, какими, по всей видимости, тоскливыми будут эти девять дней. Сразу за мной в очереди стояла довольно молодая – лет тридцати с небольшим – женщина, но она увлеченно читала какую-то книгу и ничем другим вроде бы не интересовалась.

Я видел в своем путешествии на Архипелаг Грëз полный разрыв с прошлым, начало с чистого листа и был весьма обескуражен перспективой провести первые (а может, и не только первые) его дни в примерно такой же полуизоляции, к какой я давно уже привык на Джетре.

Мне очень повезло. Так говорили все мои знакомые, и говорили так часто, что под конец я и сам в это поверил. Первое время были сплошные вечеринки и на лужайке детский смех, но по мере того, как мы все осознавали, что же такое в действительности со мною случилось, я все больше ощущал встающую между мною и ими стену. Мало удивительного, что я считал дни, когда нужно будет покинуть Джетру и плыть на Архипелаг Грëз, плыть, чтобы получить свой выигрыш. Я мечтал о путешествии, о тропической жаре, мечтал услышать незнакомые языки и увидеть диковинные обычаи. И вот сейчас, сразу же после старта, я с удивлением понял, что одному, без компании, все эти радости вряд ли будут мне в радость.

Я обратился к стоявшей за мною женщине с каким-то вопросом, но разговора не вышло: она коротко, по существу, ответила, сверкнула вежливой улыбкой и снова углубилась в книгу.

В конце концов подошла моя очередь. Я заранее открыл паспорт на той странице, где Верховное представительство Архипелага в Джетре поставило свою визу, однако таможенник визой не заинтересовался, зато начал внимательнейшим образом изучать первую страницу, где были моя фотография и описание особых примет. Его напарник уставился мне в лицо.

– Роберт Питер Синклер, – сказал тот, что разглядывал мой паспорт, впервые поднимая на меня глаза.

– Именно так, – кивнул я, стараясь не улыбнуться.

Дело в том, что он говорил с самым настоящим островным акцентом, к примеру – произносил мое имя как «Пийтер», сильно растягивая гласную. С таким акцентом говорили некоторые персонажи кинофильмов, чаще всего комические, и сейчас у меня возникло странное чувство, что таможенник изображает его нарочно, дабы меня позабавить.

– Куда вы направляетесь, мистер Синклер?

– Для начала на Мьюриси.

– А потом?

– Коллага, – сказал я, с интересом ожидая его реакции.

Никакой реакции не последовало.

– Мистер Синклер, – продолжил таможенник, – разрешите, пожалуйста, взглянуть на ваш билет.

Я извлек из внутреннего кармана всю пачку бумажек, выданных мне агентом судоходной компании, но он и смотреть на них не захотел.

– Не эти. Лотерейный билет.

– А-а, ну конечно, – сказал я, слегка смущенный, что неверно его понял, хотя ошибка моя была вполне естественна. Спрятав билеты в карман, я достал бумажник. – В общем-то, его номер напечатан прямо на визе.

– Я хочу взглянуть на сам билет.

Билет лежал в конверте, запрятанном в самое дальнее отделение бумажника, и мне потребовалось несколько секунд, чтобы его извлечь. Я хранил это свидетельство своей удачливости просто как сувенир, отнюдь не думая, что кто-то вдруг захочет с ним ознакомиться.

Получив от меня билет, эмиграционные офицеры минуты две скрупулезно, цифра за цифрой, сравнивали его номер с тем, что был занесен в мой паспорт. После этой абсолютно излишней проверки они вернули билет мне, а я вернул его на прежнее место, в бумажник.

– А чем вы намерены заняться, покинув Коллаго?

– Не знаю. Насколько мне известно, выздоровление будет довольно долгим. Вот тогда-то я и буду строить планы на будущее.

– Вы думаете вернуться в Джетру?

– Не знаю, как получится.

– Не знаете так не знаете. – Таможенник оттиснул под визой штамп с датой, закрыл паспорт и подтолкнул его ко мне. – Вам очень повезло.

– Я знаю, – сказал я привычно бодрым голосом, хотя это везение уже начинало казаться мне несколько сомнительным.

К столу подошла стоявшая за мной женщина, а я направился в бар, удобно расположенный на той же самой палубе. Чуть ли не все пассажиры, стоявшие впереди меня в очереди, были уже там. Я купил себе большой виски, отошел от стойки и вскоре уже перебрасывался вежливостями с пожилыми супругами, решившими провести остаток своей жизни на Мьюриси. Их звали Торрин и Деллида Сайнхем. Прежде они жили на севере Файандленда, в университетском городе по имени Олд-Хайдл. Они купили квартиру люкс с видом на море, в деревушке, от которой пять минут пешком до Мьюриси-Тауна, и непременно в следующий раз захватят в каюте снимки этой деревушки, чтобы я взглянул, какая это прелесть.

Приятные и бесхитростные, они старательно мне объясняли, что квартира люкс на Архипелаге стоит ничуть не больше, чем маленький домик в их родных местах.

Разговор постепенно увядал за отсутствием новых тем, и тут в бар вошла та самая женщина из очереди на паспортный контроль. Она мельком взглянула в мою сторону, а затем купила себе коктейль и встала со стаканом в руке шагах в двух от меня; когда же Сайнхемы откланялись и ушли в свою каюту, женщина повернулась и взглянула на меня.

– Простите, ради бога, – сказала она, – но я невольно подслушала ваш разговор с таможенниками. Вы действительно выиграли в Лотерею?

– Да, – кивнул я, чувствуя себя несколько не в своей тарелке.

– Я никогда еще не видела никого, кто бы в нее выиграл.

– Я тоже.

– Мне начинало казаться, что все это сплошное жульничество. Я покупаю билеты и покупаю, год за годом, и каждый раз выигрывают какие-то другие номера.

– А я купил билет впервые, один-единственный, и сразу же выиграл. Я глазам своим не поверил.

– А вы разрешите мне взглянуть на этот билет?

За недели, прошедшие после того, как я узнал про свой выигрыш, все, с кем бы я ни общался, просили показать им этот билет, словно надеясь заразиться от него моей удачливостью.

– Пожалуйста, – сказал я, беспрекословно вынимая из бумажника потертый и даже чуть засаленный билет.

– И вы купили его самым обычным образом?

– В самом обычном киоске, в парке.

Ранняя осень, на редкость погожий день. Я договорился с одним из друзей о встрече в Сеньорити-парке и пришел немного раньше назначенного времени; неспешно прогуливаясь по дорожке, я вижу киоск Лотереи Коллаг. Эти маленькие фанерные будки стали обычнейшим зрелищем и в Джетре, и в прочих больших городах Файандленда, и, надо думать, по всему миру. Как правило, лицензии предоставлялись инвалидам или изувеченным на войне солдатам. Странное дело, хотя билеты продавались сотнями тысяч, увидеть, как кто-нибудь подходит за билетом к киоску, можно было крайне редко. Покупка лотерейных билетов никогда не обсуждалась прилюдно, хотя практически каждый мой знакомый время от времени их покупал, а в те дни, когда объявляли списки выигравших, на улицах можно было видеть множество людей, сверявших свои номера с напечатанной в газетах таблицей.

Как и каждый другой человек, я мог иногда помечтать о главном призе, хотя крайне низкая вероятность выигрыша неизменно удерживала меня от участия в Лотерее. А вот в этот день я обратил внимание на одного из торговцев билетами – совсем еще молодого, лет на десять младше меня солдата, одетого в парадную форму. При всей кошмарности своих ран – вытекший глаз, культяпка вместо правой руки, шея в жестко фиксирующем ошейнике – он выглядел гордо и независимо. Охваченный состраданием – смущенным, беспомощным состраданием штатского, который удачно избежал призыва, – я подошел к солдату и купил у него лотерейный билет. Эта операция была осуществлена быстро и, по моим ощущениям, словно украдкой, будто я покупал какую-нибудь порнографию или наркотики.

Две недели спустя я нашел в лотерейной таблице номер своего билета, на него выпал главный выигрыш. Я получал возможность пройти курс атаназии и жить потом вечно. Нужно ли говорить, как я был потрясен, как проверял и перепроверял свой выигрыш, не в силах поверить в такое счастье, и как буйно ликовал, наконец поверив... Даже сейчас, по прошествии нескольких недель, я не вправе сказать, что полностью осознал раскрывшиеся передо мной перспективы.

Давно установился обычай, по которому каждый, кто выиграл в Лотерею, пусть даже на его долю достался всего лишь один из утешительных денежных выигрышей, возвращался туда, где купил свой счастливый билет, чтобы так или иначе отблагодарить распространителя. Я сделал это без промедления, не успев еще даже зарегистрировать свой выигрыш, но киоска на прежнем месте не оказалось, и другие распространители знать не знали, что случилось с сидевшим в нем инвалидом. Позднее я навел справки в администрации Лотереи и узнал, что он умер спустя несколько дней после того, как продал мне билет: вытекший глаз, ампутированная рука и сломанная шея были всего лишь внешней, видимой со стороны, частью его травм.

Если верить организаторам Лотереи, каждый месяц разыгрывается двадцать главных выигрышей, однако информации о тех, кому доставались эти выигрыши, в газетах практически не было. Причины такого положения вещей оказались вполне простыми и естественными. В конторе, где я регистрировал выигрыш, мне посоветовали говорить о нем как можно меньше и уж во всяком случае не общаться с прессой. Администрация Лотереи была отнюдь не против широкой публичности, однако имела на сей счет весьма печальный опыт. Мне рассказали о нескольких случаях, когда победители, чьи имена стали известны, подвергались нападению, трое из них были убиты.

Кроме того, эта лотерея была международной, так что на долю Файандленда выпадала лишь малая часть выигрышей. Лотерейные билеты продавались во всех странах северного континента и по всему Архипелагу Грёз.

Администраторы Лотереи завалили меня документами и указаниями, а затем, когда я начал впадать в проstration, настоятельно рекомендовали положиться во всем на них. Поразмыслив дня два или три, я решил, что самому мне всю эту гору дел никак не переделать, и сдался на милость лотерейщиков. Они помогли мне быстренько разобраться со всеми моими делами, с моей работой, квартирой и более чем скромными капиталовложениями, а затем получили для меня визу и зарезервировали место на корабле. Можете, сказали они мне, ни о чем не беспокоиться, мы позаботимся обо всех ваших делах вплоть до вашего возвращения. Я стал беспомощным элементом их организации, щепкой, попавшей в водоворот, неумолимо затягивавший ее в одном и только одном направлении – на остров Коллаго, в атаназийный клинический центр.

Молодая женщина вернула мне билет, и я снова спрятал его в бумажник.

– И когда же вы ляжете в клинику? – спросила она.

– Не знаю. Скорее всего, сразу, как только попаду на Коллаго, но точно я еще не решил.

– Но ведь... ведь вы же не откажетесь?

– Нет, конечно, но про сроки надо еще подумать.

Мне было несколько неловко обсуждать этот вопрос в переполненном баре с абсолютно незнакомой мне женщиной. За последние недели я очень устал от соображений о моем выигрыше, уверенно высказывавшихся каждым встречным и поперечным, а так как у самого меня такой уверенности не было, я еще больше устал от необходимости то ли спорить с этими людьми, то ли соглашаться.

Я видел в мечтах, как долгое неспешное плавание по Архипелагу даст мне достаточно одиночества, чтобы несколько прийти в себя, и достаточно времени, чтобы спокойно подумать. Но пока что корабль стоял в порту Сивл-Тауна, а Джетра если и скрылась из виду, то только из-за окружающих бухту гор.

Почувствовав, надо думать, мою скованность, женщина поспешила представиться. Ее звали Матильда Инглен, и она имела докторскую степень по биохимии. Она подписала двухлетний контракт и направлялась теперь на остров Семелл, чтобы работать в сельскохозяйственном исследовательском центре. Ее очень волновала нехватка продовольствия, возникшая из-за войны в некоторых частях Архипелага. Чтобы разрешить эту проблему, взялись

за колонизацию самых крупных из пустовавших прежде островов – расчищают их от диких зарослей, организуют фермы. Конечно, там еще многого не хватает: семян, сельскохозяйственной техники да и просто работников. Она специализируется на гибридизации зерновых культур и будет теперь выводить сорта, специально предназначенные для использования на островах. Очень сомнительно, чтобы ей удалось сделать за два года что-нибудь мал-мала серьезное, но по условиям контракта его можно будет продлить еще на два года.

Людей в баре все прибавлялось и прибавлялось, а так как и Матильда допила свой коктейль, и я допил свой виски, я предложил ей пообедать. Мы пришли в корабельную столовую первыми и первыми же убедились, что обслуживание там крайне медлительное, а еда скучная. Главным блюдом были колбаски из сильно наперченного фарша в завертке из листьев паквы, обжигаяще острые на вкус и еле-еле тепловатые по температуре. Мне уже случалось бывать в архипелагских ресторанах, так что пища меня не удивила, однако в Джетре конкуренция вынуждала рестораны предлагать клиентам достаточно широкий выбор, а здесь, на корабле, о конкуренции не шло и речи. Мы с Матильдой были несколько раздосадованы, однако решили, что нет никакого смысла трепать себе нервы жалобами, и мирно продолжили нашу беседу.

К тому времени, как мы встали из-за стола, корабль уже отчалил. Я прошел на корму и некоторое время смотрел, как тают вдали туманные очертания далекой Джетры и темная громада Сивла.

Ночью мне приснилась Матильда, и по этой, может быть, причине уже с утра я стал смотреть на нее несколько иными глазами.

6

Корабль все плыл и плыл на юг, погода становилась все теплее и теплее, все солнечнее и солнечнее, а я все не мог выкроить хоть сколько-нибудь времени, чтобы серьезно подумать над плюсами и минусами своего выигрыша. Меня постоянно отвлекали морские пейзажи, бескончаемо разворачивающаяся панорама островов, да и Матильда тоже играла в этом немалую роль.

Я никак не ожидал, что заведу на корабле какие-нибудь знакомства, а вот теперь не мог выкинуть Матильду из головы почти ни на минуту. Она, как мне кажется, была рада моему обществу, мое внимание ей льстило, но этим все, собственно, и ограничивалось. Я преследовал ее так целеустремленно, с таким безоглядным упорством, что даже самому становилось неловко. Мне недоставало предлогов, чтобы находиться в ее обществе, а подойти к ней просто так, без предлога, было абсолютно невозможно, не такая это была женщина. Каждый раз мне приходилось вымучивать ту или иную уловку: может быть, выпьем в баре? погуляем по палубе? сойдем ненадолго на берег? И каждый раз она вскоре ускользала под каким-нибудь собственным предлогом: немного вздремнуть, вымыть голову, написать письмо. Я знал, что мой интерес к ней и ее интерес ко мне абсолютно несопоставимы, но и это меня не отпугивало.

Если разобраться, наше знакомство было практически неизбежно. Мы принадлежали к одной и той же возрастной группе – ей было тридцать два года, на три года больше, чем мне, – и мы относились приблизительно к одному кругу джетранского общества. Подобно мне, она сожалела о засилье пенсионерских парочек, но в отличие от меня она подружилась с некоторыми из них. Быстро выяснилось, что она обладает острым, гибким умом, а когда выпьет, проявляет довольно неожиданную склонность к непристойным шуткам. Высокая, стройная и белокурая, Матильда много читала, была политически активна (как оказалось, мои и ее хорошие приятели имели общих знакомых), и в тех немногих случаях, когда мы успевали за время стоянки в порту хоть ненадолго сойти на берег, она обнаруживала вполне приличное знание местных островных обычаев.

А первопричиной был уже упоминавшийся мною сон, один из этих на редкость выпуклых снов, которые не теряют смысла и после пробуждения. Все обстояло предельно просто. Я и женщина, как две капли воды похожая на Матильду, находились на некоем острове, и у нас была любовь. Сон содержал элементы эротики, но в количестве весьма умеренном.

А утром меня захлестнула при виде Матильды волна внезапной нежности, и я абсолютно непреднамеренно начал вести себя так, словно мы с ней были знакомы не со вчерашнего дня, а многие годы. Очень, надо думать, ошарашенная девушка откликнулась почти с такой же теплотой, и, прежде чем я или она сумели что-нибудь сообразить, стиль наших отношений сформировался и закрепился. Я ее преследовал, а она тактично, с известной долей юмора, но твердо от меня ускользала.

Тем временем я открывал для себя острова. Мне никогда не надоедало стоять на палубе у поручня и созерцать разворачивающиеся картины, а каждое посещение нашим кораблем того или иного порта становилось для меня источником особо ярких визуальных впечатлений.

На стене главного корабельного салона висела огромная стилизованная карта, показывавшая все Срединное море со всеми основными островами и судоходными маршрутами. Моей первой реакцией на эту карту было изумление сложностью Архипелага¹ и несчетным

¹ Следует отметить, что именно так – Архипелагом, с большой буквы, – в реальной географии называются острова Эгейского моря. (Прим. перев.)

количеством его островов и едва ли не большее изумление, как это кораблям удается плавать в этой каше, не натываясь ни на мели, ни друг на друга. А судоходство здесь было плотное: за обычный день я успевал увидеть с палубы два-три десятка сухогрузов и танкеров, пару пассажирских лайнеров вроде нашего и бесчисленное число маленьких паромов, ходивших на внутренних, от острова к острову, линиях. Рядом с некоторыми, что побольше, островами сновали многочисленные частные яхты, а кое-где – надо думать, в особо рыбных местах – буквально кишели траулеры и сейнеры.

Вошло в поговорку, что острова Архипелага невозможно пересчитать; было известно, что десять с чем-то тысяч из них имеют собственное название и что безымянных гораздо больше. Все Срединное море было тщательно исследовано и картографировано, но кроме обитаемых островов и больших необитаемых здесь была уйма крошечных островков, рифов и скал, многие из которых скрывались под водой во время прилива.

Разглядывая карту, я узнал, что острова, лежащие к югу от Джетры, известны как Торки и что главный из них, Деррил, – это тот, куда мы заходили на третий день плавания. Чуть дальше на юг лежали Малые Серкские. Все острова группировались по причинам административного и географического свойства, но каждый из них был, по крайней мере в теории, политически и экономически независимым.

Не вдаваясь особо в подробности, можно сказать, что Срединное море опоясывало мир по экватору, только оно было значительно обширнее, чем каждый из двух континентальных массивов, располагавшихся на севере и на юге. В нижней части глобуса море лишь на несколько градусов не доходило до южного полюса, в то время как в северном полушарии страна по имени Койллин, одна из тех, с которыми мы сейчас воевали, частично залезала на экватор; в общем, однако, можно было сказать, что на континентах климат прохладный, а на островах – тропический.

Среди прочих занимательных фактов в школе рассказывали, а теперь это раз за разом повторяли пассажиры нашего корабля, что островов так много и расположены они так густо, что с каждого конкретного острова можно увидеть по крайней мере семь других. Я ничуть не сомневался в этом факте, разве что считал его некоторым преуменьшением; даже с такого не слишком большого возвышения, как корабельная палуба, я зачастую видел дюжину, а то и больше островов.

Казалось почти чудовищным, что я провел всю свою жизнь, ничуть не задумываясь об этих сказочных, ни на что не похожих местах. Какие-то двое суток плавания перенесли меня в совершенно иной мир, хотя, строго говоря, я был все еще ближе к своему дому, чем, скажем, горные перевалы на севере Файандленда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.